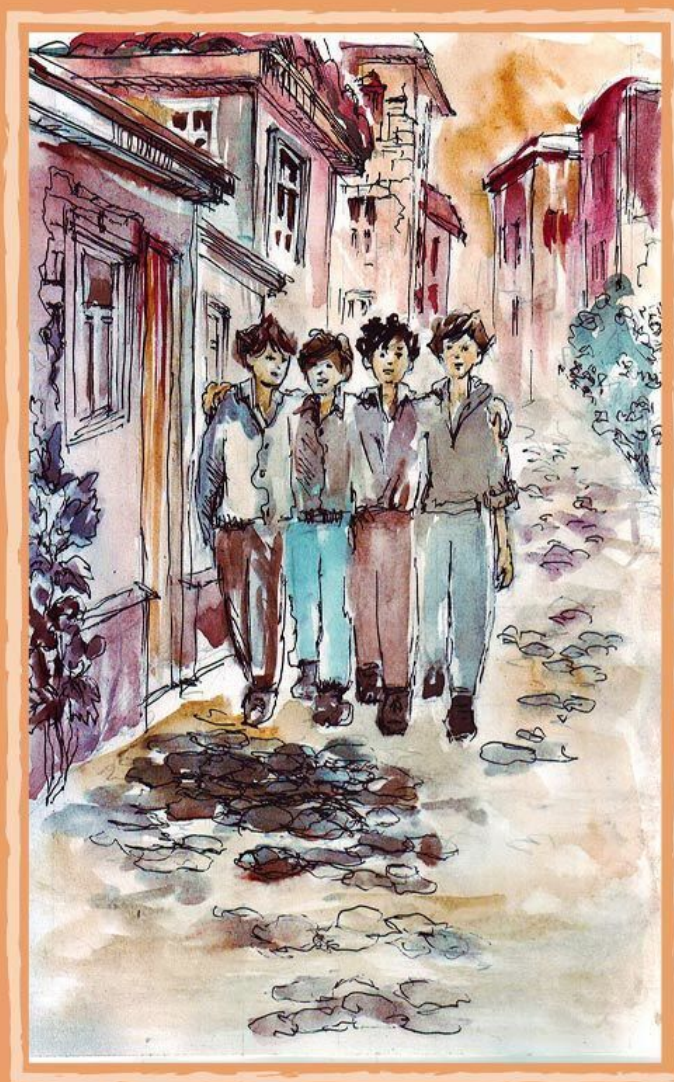




ДЕТИ
ВОЙНЫ

Изяслав КОТЛЯРОВ

ПОБЕГ ИЗ ДЕТСТВА



Дети войны

Изяслав Котляров

Побег из детства

«Четыре четверти»

2020

Котляров И.

Побег из детства / И. Котляров — «Четыре четверти»,
2020 — (Дети войны)

ISBN 978-985-581-342-3

Дети войны... В этом теперь привычном словосочетании невольно звучит, будто война для них, подростков, была матерью. Смерти, болезни, голод, обрекающая на жестокость нужда... и бесшабашность, желание быть взрослее, подражание отцам-фронтовикам. Взрывы снарядов и мин на кострах, от которых – смерть да искалеченные судьбы, забирали отчаянных, кого не смогли уберечь предостережения родных. Детская память, возможно, – самое искреннее свидетельство реалий войны и послевоенного времени...

ISBN 978-985-581-342-3

© Котляров И., 2020
© Четыре четверти, 2020

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Взрыв | 6 |
| Похороны | 11 |
| В школе | 14 |
| Дома | 18 |
| Фасоль | 22 |
| Мама | 27 |
| Под расстрелом | 30 |
| Счастливый и горестный день | 32 |
| Прощание с мамой | 37 |
| Венька | 40 |
| Лешка принимает решение | 47 |
| В гостях | 54 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 55 |

Изяслав Котляров
Побег из детства
Повесть

© Котляров И., 2020

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2020



Взрыв

Пронзительный свист раздался за окном. Лешка вздрогнул, торопливо прикрыл промокашкой недописанное упражнение и толкнул раму. Ветер будто ждал этого: гулко хлопнул створкой окна, дохнул запахами цветущего сада. Лешка ослеплено щурился, вглядываясь в дымчатое сплетение ветвей. Но увидел чубатого Сеньку лишь когда свист повторился. Тот, оседлав забор, весело раскачивался, и рыжая шевелюра его словно горела под ветром.

Лешка выпрыгнул из окна, едва не угодив в любимые бабушки цветы, которые тянулись почти к самому подоконнику. Сенька, птицей слетев с забора и поджидая друга, выковыривал из серого ствола сливы янтарную смолу.

– Вкусно? – Лешка тоже отколупнул золотистый шарик.

– Ага, – Сенька облизал корявые пальцы.

Высоко над садом плыли пенисто-белые, пронизанные солнцем облака. Вокруг цвел, шелестел, жужжал неутомимыми пчелами облачно-белый сад. Пчела, наполовину утонув в лохматом пестике цветка, качнула веточку над взъерошенной головой Сеньки.

– Во дает! – светлое, всегда удивленное лицо Сеньки еще больше округлилось в улыбке. Он привстал на цыпочках, ловко щелкнул пальцем, словно выстрелил пчелой. Но тут же, чертыхаясь, прислонился к забору: – Гляди-ка, опять тесемка лопнула. А еще парашютная!

– Каши просят твои ботинки, – посочувствовал Лешка, наблюдая, как тот перевязывает тесемкой носки ботинок.

Но Сенька не расслышал этих слов. Закончив ремонт, облегченно выпрямился и, растягивая слова, произнес:

– Ни-че-го, ско-ро солн-це под-жа-рит, так не толь-ко эти ко-ло-ды, но и порт-ки сбросим! – Он шутливо подтянул подвязанные все такой же парашютной тесемкой полотняные штаны и процедил сквозь зубы: – Порядок в танковых частях... Идем, что ли?

– Куда? – недоумевая, спросил Лешка.

А Сенька, ловко подтянувшись на руках, снова оседлал забор.

– Вот так и за яблоками, и за сливами к вам лазить буду. Только созреют – не устережешь!

Лешка гордо оглядывал пенистые кроны яблонь, слив и груш. Он сам еще никак не мог поверить, что все это теперь принадлежит им, Колосовым. Переехали они совсем недавно, в феврале. Разделили со Щегловыми все пополам: и дом, и сад, и огород. Правда, бабушка Щегловых – Матрена Яковлевна – до сих пор с этим дележом смириться не может. Каждое утро, сталкиваясь с ней в темных сенцах, Лешка вежливо сторонится и бодро выкрикивает:

– Здравствуйте, Матрена Яковлевна!

А та только отворачивает свое сухонькое, исчерканное морщинками лицо и бормочет в ответ что-то невнятное. Но Лешка поклясться готов, что бормочет она те же самые слова, которыми встретила их в день приезда: «Принесла вас нелегкая!» Тогда бабушка Матрена здорово поразила их этими словами... И еще тем, как презрительно протопала мимо трехтонки, в кузове которой громоздились их некогда никелированные кровати, истертые, обесцвеченные матрасы, колченогий стол и жестяные кастрюли, миски, особенно ярко надраенные по случаю переезда... Да, Матрена Яковлевна – бабушка с характером! На отцовскую бумажку, которую он гордо назвал ордером, и смотреть не стала. Так, спрятав руки под серый брезентовый передник, и ушла, оглушительно хлопнув без того перекошенными дверями.

– Послушайте, дорогая, мы ведь переселяемся на законном основании. Мы понимаем, что вам это неприятно. Понимаем, но...

Бабушка в зеленом чуть выцветшем жакете, в темной довоенной юбке, которая тоже, наверное, незаметно состарилась вместе с нею, еще недавно так торжественно сидевшая в кабине рядом с шофером дядей Колей, вконец расстроилась и задышалась словами:

– Я понимаю... Я понимаю... Но нельзя ведь так...

Она обнимала изрядно потрепанную темную сумку, зачем-то трогала уложенные на затылке серебристым жгутом волосы и часто-часто моргала, удерживая слезы.

– Да будет вам, Вера Семеновна! – дядя Коля решительно выпрыгнул из кабины. – Чего там церемониться! Старая карга только о себе и думает. А то, что людям жить негде, ей наплевать! – он снял и бросил на сидение черную шоферскую кожанку, деловито скомандовал Лешкиному отцу:

– Давай, Викентьевич, откидывай борта!

Бабушка совсем обиженно заплакала.

– Успокойся, мама, – отец расправил под широким офицерским ремнем гимнастерку, – дом ведь не ее собственный, а государственный, – он так и не договорил, раздраженно махнув рукой...

Лешка снова мысленно увидел и тот ослепительно белый морозный день, и ту машину, опущенную колким игольчатым инеем, и отца, и дядю Колю, и заснеженные деревья. Вспомнил, как представлял уже тогда эти ветви в ярких солнечных бликах яблок и груш, радостно думая о том, что теперь не придется, стыдясь самого себя, тайком поднимать на улице кем-то недоеденный огрызок...

И вот сейчас, нетерпеливо ерзая на заборе, Сенька удовлетворенно хохотал:

– Во дает! Небось, сдрейфил, что в сад ваш дорогу знаю, а?

– Да ладно, чубатый! Выдумал! Пусть только созреют – всем хватит, понял? А цветут здорово. Ты глянь. Вот это да!



Но Сенька никак не хотел разделять Лешкиного восторга. Он снова презрительно сплюнул сквозь зубы и переспросил:

– Так идешь, что ли?

– Куда?

– Во дает! Не знаешь разве? Темный ты человек, Леха! Мы вчера во рву во-он какую мину нашли. И круглая, как твоя башка, только ушей не хватает. Айда со мной. Сейчас бабах-нем! Там уже и Витька сипатый, и Ромка...

Лешка на мгновение заколебался, оглядываясь на распахнутое окно, у которого его ждала тетрадь с недописанным упражнением.

– Надо бы дописать... Уроки не сделал, понял? – нерешительно проговорил он.

– Ну и чудик ты, Леха! У-уроки! Завтра ведь последний день – учиться лень... Я и не брался. Во дает! У-уроки... Скажи лучше, что сдрейфил!

Последние слова Сеньки будто подтолкнули Лешку. Он подпрыгнул, ухватился за высокие доски и повис на заборе.

– Ле-ша! Ле-ша! Ты куда это? – голос бабушки точно ударил по спине. – А уроки?! Я кому говорю? Немедленно в комнату!

Лешкины пальцы как-то сами собой разжались. И надо же – совсем забыл, что бабушка грядки вскапывает. А Сенька презрительно колет взглядом:

– Будь здоров, маменькин...

Он замялся, видно, вспомнив, что у Лешки нет матери, и повторил:

– Будь здоров, бабушкин сынок! Делай уроки!

... Лешка уже укладывал в старенький рыжий портфель учебники, когда бабахнула, наконец, Сенькина мина. Только теперь Лешка понял, что все время напряженно вслушивался, ожидая этого взрыва, жадно завидуя тем, кто сейчас во рву. А взрыв огненно полыхнул в окне, сердито пошатнул бревенчатые стены дома. Да так, что жалобно забренчали стекла, а пол как-то сразу стал серым от пыли.

Лешка выскочил в полумрак сенцев, едва не сбив с ног Матрену Яковлевну, и, не слушая ее сердитого бормотания, толкнул двери. Меж деревьями, высоко над стадионом густо стоял черный дым. Он все еще рос, заполняя небо, этот едкий, нескончаемый дым. Было тихо, и оттого особенно слышно, как где-то бился о зловещую тишину болезненный визг собаки. И вдруг тоже нескончаемо-протяжный, душераздирающий крик. Он ударил в небо с такой яростью, что даже черные облака над стадионом испуганно раздалились, обнажая ломкие, как молнии, голубоватые просветы.

Но Лешка ничего этого не видел. Он бежал, задыхаясь, чувствуя, как тревожно трепыхается сердце под набитой ветром рубахой. Ноги его гулко и больно стучали по тротуару, потом по еще мокрой, осклизлой глине сырого оврага, по мягкому и теплomu, как зола, песку. Зеленые стены церкви, черная чугунная ограда, ржавые столбы ворот стадиона... Лешка с разбегу ворвался во все еще вязкий, удушливый дым, в запах горелого железа, обожженной земли, в истошный крик какой-то растрепанной женщины, в надрывные гудки машины скорой помощи... Он уцепился за гибкую ветку вербы и судорожно глотал, будто обжигаясь, все эти запахи, крики, гудки, не чувствуя и не слыша своего испуганного голоса. Лешка никак не мог оторвать оцепенелого взгляда от розовато-белой кости и старенького ботинка, туго подвязанного парашютной тесемкой.

– Сень-к-а! Сень-к-а! Сень...

Кто-то бережно обхватил его за плечи:

– Пойдем, малый, нет больше твоих дружков. Догулялись...

Небо раскачивалось. Голоса и звуки становились тише, приглушеннее. Жесткие руки все так же грузно лежали на Лешкиных плечах.

– Пойдем, пойдем, малый... Насмотрелся уже...

Лешка почувствовал, что упругая властная сила чужих рук все дальше отводит его от извилисто ниспадающей в ров тропинки, и еще крепче уцепился за липкую вербовую ветку, ломая ее, сдирая длинную, как хлыст, кору.

Он так и шел, слепо сжимая в онемевших пальцах эту ветку. Только во дворе дома, у самой калитки устало ткнул ее в податливую, перепаханную землю.

Похороны

Утром его разбудило солнце. Оно легло рядом с ним на подушку ласкающе-теплым дрожащим бликом и светило так ярко, что Лешка блаженно медлил, не решаясь раскрыть глаза.

– Однако силен ты спать, сын! – отец стоял над ним, с наслаждением растирая цветастым махровым полотенцем красное от холодной воды тело. Каждым своим движением он словно перегонял под кожей бугры мускулов. Только на правой руке, чуть повыше локтя, под узловатыми шрамами их не было. Лешка знал, что у него там и сейчас сидит осколок. Отец нередко в шутку называл его своим барометром за то, что тот как-то по-особому умеет ныть перед ненастьем. И сейчас болезненно морщился, растирая правую руку. Лешка очень боялся, что он начнет расспрашивать о вчерашнем взрыве. Но отец только ловко нырнул в свою гимнастерку, выразительно тряхнул ремнем:

– Ну-ну... Надо бы с тобой, сын, поговорить с помощью этого предмета. Да, думаю, ты сам не дурак – поймешь. – И неожиданно признался: – Я тут ночью рядом с тобой посидел – наслушался твоих криков. Но это хорошо: кто кричит – тот чувствует. Такие слова мне один хирург в госпитале сказал. В общем, думай, сын... А я пошел. Вон уже дядя Коля сигналит – в Столбцы поедем. – Отец согнал за спину складки гимнастерки. – Вернусь – матрас тебе свежим сеном набью, а то и не знаю, как только спишь на этих досках. – Он уже совсем по-иному, умиротворенно повторил свое любимое «ну-ну» и шагнул в сенцы.

Утренняя синева густо стекала по стеклу окна. Казалось, и колченогий стол, застланный пожелтелой газетой, и бамбуковая этажерка с книгами, и кровать, и пол – все было окрашено этим ярким светом. По старенькому овальному зеркалу с черными, будто крохотные проталины, потертостями, бесшумно скользили тени листьев. Лешка невольно вспомнил вчерашний сад, свою встречу с Сенькой там, у дощатого забора, и сердце снова захолонуло. Он вскочил и торопливо, словно кто-то ему мог помешать, повернул к себе зеркало.

Раньше Лешка никогда не рассматривал себя. А тут вдруг с интересом уставился. Большие карие глаза глянули на него настороженно и грустно. Черные ресницы почти касались таких же черных изогнутых бровей. Иссиня-черные волосы переплелись кудрявыми кольцами. Плотные сжатые губы обиженно вздрагивали, точно он только что плакал и все еще не мог успокоиться. Да... И тут простая, ошарашивающая мысль, как летящий навстречу грохочущий поезд, оглушила его: «А ведь уже сейчас ничего этого могло не быть». Лешка чувствует, что губы вот-вот разнимет тот вчерашний истошный крик. Могло не быть? Не быть?!

Как же так? Вот этот стол с прибитой второпях нетесанной ножкой стоял бы. И кровать. И стены. И книги. И сад. Все осталось бы. И бабушка жила бы, и отец, и сестра... А его могло не быть, не быть! Стоило только бабушке не окликнуть, стоило только ему не разжать тогда сцепленных на заборе пальцев... Как же так?! И тут он впервые понял, что уже никогда не увидит ни Сеньки, ни Ромки, ни Витьки. Ни-ког-да...

А в окно струилось майское солнце, превращая в радугу упругий поток пыли. Деловито шуршала веником сестра, знакомо, вроде жалуясь, скрипела в сенцах перекошенная дверь. Это возвращалась с базара бабушка.

– Охо-хо-хо! И что только делается?! Ну, была война... Тогда смерть никого не щадила – ни старых, ни малых. А теперь? Мальчишки. Еще белого света не видели. Хлеба вдоволь, небось, ни разу не поели. И на тебе! Всех троих – на кусочки... В одном гробу сейчас повезут хоронить... Как подумаю, что и нашего могло...

Бабушка еще долго охала и ахала за дощатой перегородкой, шуршала бумажными свертками, недобрый словом поминала каких-то спекулянтов, дерущих три шкуры за буханку хлеба, щедро сдобренного картофельной шелухой. Но Лешка уже ничего не слышал. Значит, сейчас

повезут... В одном гробу... Сеньку, Ромку, Витьку... Сейчас... Он торопливо нырнул в рубаху, сунул ноги в сандалии...

На улице ветер с размаху ударил его в лицо, зарябил в глазах лепестковой метелью уже отцветающего сада. И тропинка, и тротуар у забора – все белело, светилось. Лешка заскользил по глинистому оврагу, осторожно ступил на шаткую дубовую кладку через рыжий, будто бы тоже глинистый ручей. Теперь оставалось только подняться по деревянным ступенькам лестницы прямо к дому Сеньки Аршунова.

Сколько раз они весело скатывались по вот этим перилам! Как дружно взлетали, почти не касаясь всегда влажных и темных крутых ступенек, на дощатую площадку, которую называли своим капитанским мостиком! А теперь Лешка стоит и болезненно ежится от приглушенных горестных голосов и громкого задыхающегося плача. Никогда не думал, что может быть так трудно подниматься.

Шаг... Еще шаг... Все отчетливее тревожные голоса, шорох сена, скрип тележных колес и гулкие нетерпеливые удары конских копыт. Шаг... Еще шаг... Вот и площадка. В углу, у самых перил, треснувшая дубовая колода. Лешка вспомнил, как Витька в застиранной тельняшке стоял на этой колоде и семафорил приземистым избам, тополиным аллеям и тоже низенькой с высоты обрыва их школе. Он так хотел стать моряком – всегда молчаливый, может, просто стыдившийся своего сиплого, простуженного голоса.

Лешка подошел к Сенькиному дому, когда на подводку, устланную сеном и еловыми лапками, опускали гроб. Еще громче заголосили женщины, молча склонили головы мужчины. На мгновение показалось, что все глядят на него, Лешку, осуждающе и строго. Он стоял, боясь оторвать взгляд от истоптанной, усыпанной соломенной трухой земли.

– А, дзіятка маё! Ды што ж гэта ты нарабіў?!

– Ромочка-а! Милень-кий!

– Ой, люди добрые! Да что ж это такое, а?!

– От войны уберегла... От войны... А теперь? Не могу-у!

Лешка вздрагивал от этих слов, как от ударов. Ну почему, почему тогда не удержал Сеньку? А ведь мог... Что мог? Разве сам не хотел бежать вместе с ним? Вот сейчас бы и он рядом с Сенькой, Ромкой и Витькой лежал... Странно... И никогда больше не смотрел, не дышал, не... Стоило только не разжать тогда на заборе пальцы, не послушаться бабушки – и все...

Заскрипели колеса телеги, угрюмо зашуршали шаги, и Лешку властно захватила собой толпа, бредущая за гробом. Он сам не понимал, как очутился рядом с Сенькиным отцом. Сначала Лешка узнал его деревянный, обшитый кожей протез и только потом виновато глянул в страдальческое лицо Алексея Семеновича. Полы его пиджака были распахнуты ветром. Он тяжело переступал, увязая непослушной деревяшкой в дорожном песке. Алексей Семенович тоже заметил Лешку и бережно опустил руку ему на плечо:

– Эх, тезка, тезка... Не уберегли мы с тобой Семена. На mine... Мало, что ли, их за войну мне досталось? И в танке горел... А вот живу. Сыночка, кровинушку свою, пережил... Эх!

Он замолчал, еще ниже опустив голову. Теперь Лешка отчетливо видел на побелевшем лице Алексея Семеновича крохотные крапинки пороха.

Тихие тени развесистых лип бесшумно скользили по лошади, по телеге, суетливо ложились под ноги. За спиной Лешки кто-то вполголоса рассказывал:

– Пробовали они развинтить эту мину, да не сдюжили. Тогда костер развели – и туда ее. Залегли, ждут, а взрыва нет. Ну, этот рыженький, Сенька, что ли, вызвался посмотреть. Наклонился, чтобы костер раздуть. Тут как раз оно и бабахнуло... Всех троих – на кусочки...

Дорога круто свернула, и сразу же из-под низких березовых ветвей выглянули покосившиеся кресты могил и кирпичная стена каплицы.

– Леш, а жаль-то как, Леш, – Фимка Видов – сосед по парте – тормозил его за рукав, наверное, совсем не замечая, что уже давно плачет.

На беленькой Фимкиной матроске с голубым отложным воротником медленно расплывалось мокрое пятно. Лешка глянул на него – маленького, горестно съежившегося – и не удержал душивших его слез...

В школе

– Последний день – учиться лень! Мы просим вас, учителей, не мучить маленьких детей! – Серега Шивцев уже в который раз выкрикивает эти слова и, кажется, даже пританцовывает, размахивая брезентовым ремнем своей сумки. – Последний день...

Лицо Сереги покраснелось, светлые волосы рассыпались, упали на глаза. А он все кружится, притопывая, по бугристому асфальту у подъезда. – Учиться лень...

Лешка стоит, прислонившись к кирпичной стене. Молча, отрешенно. Насуплено смотрит, как мальчишки из пятого «Б» штурмуют двери, в которых непробиваемо стоит техничка тетя Нюра. Она будто обнимает дверной проем, воинственно поставила рядом с собой истрепанную, уже почти безлистую березовую метлу.

– От, сорванцы! Ну куда, ку-да?! Вот я вас метелкою! Прозвенит звонок, уйдет первая смена, и впусу. Как на пожар спешите. Вот я вас...

А подъезд гудит, полнится голосами.

– Мишка, хлеба принес? – допытывается кто-то.

– Лень, дашь списать задачку, а то математичка проверить тетрадь грозит, – жалуется Колька Свирин.

– Чего стену подпираешь? Боишься, что обвалится?

Лешка не сразу понял, что последние слова адресованы ему. Только когда Толик Щеглов шутливо толкнул его плечом, вымученно улыбнулся:

– Да так... Стою...

Толик был Лешкиным соседом по дому. И ни молчаливая неприязнь взрослых, ни то, что Щеглов учился уже в шестом, а Лешка только в пятом классе, не мешали им дружить. Вместе спешили на рыбалку, собирали щавель, плели из конского волоса тетиву и натягивали ее на ореховые луки.

– Да, жаль твоих дружков... Глупо все получилось, – вздохнул Толик. – Особенно Ромку жалко. Он у нас в саду недавно на трофейной гармошке наяривал.

Раскачиваясь, все такой же веселый, подошел к ним Серега Шивцев и, неожиданно оборвав свое «последний день – учиться лень», выпалил:

– Дураки они. Ми-не-ры!

Лешку словно током ударило. Кинув к стене портфель, схватил Серегу за воротничок футболки:

– А ну, повтори... Артист! Не зря тебе Сенька обещал бока намять. Не зря, понял? На!

Лешка с такой силой толкнул Серегу, что тот, пятясь, споткнулся о булыжник и под веселый хохот плюхнулся на землю.

– Уймись, Леха, это ведь он бати своего слова повторяет. Сам слышал. Дескать, минеры выискались. В мужское дело полезли. Так им и надо...

Толик обхватил Лешку за плечи, уводя его от все еще сидящего на земле Сереги. Но Серега не был бы Серегой, если бы даже в этом позорном положении не нашелся. Так и не поднимаясь, он вдруг, словно ни в чем не бывало, запел свое:

– Послед-ний де-ень – учить-ся ле-ень...

Хохот возобновился с новой силой. Но теперь он был другим, одобрительным. Ай да артист!

А эхо звонка уже трепетало, голосисто перекачивалось под кирпичным сводом. И толпа как-то сразу отхлынула, обнажая школьный двор с бугристыми клумбами, окаймленными красным кирпичом, и кусок мостовой с редким, утонувшим в песке булыжником.

Веселый, крикливый поток внес Лешку в школьный коридор и не отпускал почти до самых дверей класса. Лешка привычно бросил портфель на подоконник, подвинулся, уступая

рядом место Фимке Видову, и опустил крышку парты. Равнодушно глянул на черную доску в белых меловых подтеках... Но необычным был взволнованный шепот, необычно горестно пустовала парта Сеньки Аршунова и Витьки Шалымова. Лешка на мгновение представил, как в соседнем пятом «В» вот так же пустует за партой место Ромки Шейна. Конечно, случилось и раньше такое. Тот же Ромка однажды целую неделю на улицу и носа не показывал, слова сказать не мог. Даже в комнате своей шептал, будто на уроке. А ходил, смешно сказать, в каком-то белом пухлом ошейнике, который компрессом, что ли, зовется. Но то у него ангина была. А потом Ромка снова орал не хуже паровоза. И на катке такие кренделя выкручивал на коньках-снегурках – позавидуешь! Но теперь... Теперь уже никогда не придет в школу, не сядет за свою парту, не наденет коньки... Ни-ког-да! Раньше Лешка и знать не знал, что есть такое беспощадное слово...

Под самым потолком в коридоре снова гулко трепыхнулось эхо звонка. И сразу стало тише. Лешка даже слышал, как осыпается за окном шорох с тополиных ветвей. Фимка еще ниже опустил голову, сердито черкая карандашом по обложке дневника. И вдруг весь дернулся, словно его ударили:

– Эй, конопатая! Как ты можешь?! Человека... Даже самого плохого... После смерти не обижают... Мне мама говорила... А то ведь – Сенька!

Фимка не договорил, уткнувшись лицом в изрядно исчерканный дневник.

– Вот псих какой-то ненормальный! – пискнула за спиной у Лешки Люська Соловьева. – Я только сказала: Лена, ты жалеешь, а он тебя за косы таскал. Вот и все.

Люська... Маленькая, худенькая, с приподнятым, как бы вывихнутым правым плечиком. Даже не оборачиваясь, Лешка видел ее крохотное, точно сжатое, личико и бегающие глазки. Но злости у него сейчас на Люську не было. «Ни-ког-да! Ни-ког-да!» Он смотрел на пустую парту, оглушенный этим ненавистным словом. И тут как-то сразу представил место свое тоже... пустым! Фимка сидел бы, угрюмо ссутулившись. И все было бы так же. Эта злоеющая тишина. Писклявый шепот Люськи. И даже тополиный шелест за окном был бы. А его, Лешки... Как странно... Вот так сразу... Он до боли сжал пальцы в кулаки, неистово желая смять, задушить свои назойливые, жуткие мысли.

Неужели могло быть все-все: и солнце, и школа, и еще неизвестные ему дальние горы, и нахохленные воробьи... Все-все. Без него, Лешки?!

В распахнутых дверях класса показалась Нина Ивановна. На синей вязаной жакетке светлел белый воротничок блузки. Такой белый, что даже русые волосы учительницы ярко темнели на нем. Обычно резкая, деловито торопливая, она сейчас медлила, словно каким-то невероятным образом застряла в этих широко распахнутых дверях. Потом нерешительно вошла. Не здороваясь, обессилено опустилась на табурет. Лешке даже показалось, что плечи Нины Ивановны зябко вздрагивают – словно у Фимки, который так и не встал из-за парты. А они все стояли и удивленно рассматривали ее. Но вот Люська тоненько ойкнула, не удержав крышку парты. Нина Ивановна встрепенулась и, не поднимая головы, рассеянно проговорила:

– Ах, да... Садитесь...



Она с силой разняла побелевшие пальцы, и Лешка увидел, что глаза у Нины Ивановны красные от слез. Да и голос сегодня какой-то хриплый, по-детски обиженный. Вслушиваясь в него, Лешка не сразу понял, о чем говорила учительница. А говорила она необычно, странно:

– Простите меня, дети... Что-то, видно, не так я делала. Чему-то, наверное, не так вас учила. Не уберегла я Сеньку и Витю.

Нина Ивановна замолчала и укоризненно вздохнула:

– Но и вы хороши! Мало того, что по двенадцать лет прожили. Так ведь еще на целую войну вы взрослее своего возраста! Вам ли со смертью в игрушки играть?

И, уже не сдерживая волнения, заторопилась словами:

– Милые вы мои! Разве ж так можно?! Бессмысленно. Человек должен чем-то оправдать свою жизнь. Работой, успехами. Цели своей достичь обязан. Полезным себя почувствовать. Память о себе хорошую оставить. А так... Вроде и не было тебя никогда... Я сама сквозь все эти муки прошла. Сыночек Ваня... Вот так тоже погиб. Потянулся в лесу за подосиновиком, а там мина... Поймите, не к трусости я вас зову. Не к тому, чтобы ходили и землю шупали, где бы ступить, не к страху за свою жизнь... Нет! А к осмысленности, к обдуманности своих поступков... Чем раньше вы все это поймете, тем раньше людьми станете. Эх, да что я вам говорю!

Нина Ивановна поднялась, задвинула под стол табурет, подошла к окну, в которое заглядывал тополь. По местовой какой-то пацан в широких, точно лодчонки, резиновых бахилах катил железную ржавую тачку. Она грохотала, ударяясь о булыжины помятым колесом, как бы вырываясь из рук, и мальчишка беспомощно мотался со стороны в сторону вслед за тачкой... А когда грохот за окном притих, Нина Ивановна все так же, не оборачиваясь, уже обычным голосом проговорила:

– Не будет у нас сегодня уроков... И отметок годовых я вам сегодня называть не буду. Завтра родителям скажу на собрании. А теперь идите. И думайте... Да не шумите, пожалуйста, в коридоре. В классах занимаются...

Потом они долго стояли вместе в подъезде, так и не решаясь расходиться. Притихшие и непривычные самим себе. Рыжий Борька Сорокин, заглядывая Лешке в лицо, неожиданно признался:

– А хорошо Сеньке и Витьке! Плачут над ними, жалеют их все. Уроки из-за них отменяют. Раньше только ругали...

Лешка даже растерялся от этих слов. Он беспомощно задвигал губами, отыскивая нужное слово. Нашел и проговорил прямо в белое лицо Борьки:

– Ну и лопух ты, Боря! Понял? Позавидовал... Вот это да!

Они вышли с Фимкой из подъезда, а вслед им, недоумевающая, моргал рыжими ресницами Борька, и его обвисшие сытые щеки обиженно вздрагивали...

Дома

За Лешкиной спиной протяжно хлопнула калитка. Столбики, на которых она держится, давно перекошились. Один почти наполовину утонул в черной и вязкой земле, а другой в камень какой-то уперся, что ли? Гнется под тяжестью повисшей на нем калитки да вздрагивает при каждом ее ударе так, что зеленоватый мох на нем еще долго шевелится своими кудрявыми лохматинками, будто дышит... Но зато как хорошо! Распахнул калитку пошире, перешагнул тоже тонущую в грязи доску, а закрывать и не надо: калитка сама ба-бах – и готово.

Но сегодня она как-то угрюмо хлопает в зеленовато-мшистый столбик. Кажется, стонет – протяжно и надсадно. Отсырела, что ли? Лешке жалко этой старенькой калитки, наспех сбитой из тонких черных жердочек. Он протянул руку, как бы унимая ее дрожь, и оторопел: маленький зеленовато-желтый пруттик, воткнутый им совсем недавно здесь, у картофельной борозды, в день похорон Сеньки, Витьки и Ромки, неузнаваемо выпрямился, вздулся остренькими серыми клювиками почек. А на самой верхушке эти клювики приоткрылись, показывая нежно-зеленые язычки листьев. Вот это да! Прутик – и тот жить хочет! Расти, зеленеть! Но зачем? «Тоже быть полезным, цель свою осуществить», – вспомнил Лешка слова Нины Ивановны и улыбнулся.

– Ага, явился уже! Последний день – учиться лень, да? Сбежал, да? Думаешь, тебе все можно, да? – Фроська, как из пулемета, стреляла в него этой словесной очередью. Глаза сестры полнились злорадством. Худенькая, голенастая, она прыгала у самого порога, раздувая свой голубоватый в линиях цветочках сарафан. – Сбежал?

Но Лешка не откликнулся на Фроськины слова. Он угрюмо прошел мимо и плотно прикрыл за собой фанерную дверь их с отцом мужской комнаты.

– Подумаешь, воображала – первый сорт! Считаешь, что раз без «троек», так... Да? Посмотрим, как ты в шестом классе учиться будешь! – достал его и здесь звонкий голос сестры.

Ну и пусть стрекочет себе. В первом классе она ему грозила вторым, во втором – третьим, в третьем – четвертым. А теперь вот уже шестым допекает. Всего на один класс отстал от нее, но разве догонишь?

Он бросил на стол портфель, и старенький, тронутый ржавчиной замочек тотчас услужливо щелкнул, откидывая крышку. Вот это да! По щучьему велению, по моему хотению, что ли? Но никакого хотения копаться в портфеле не было: впереди Лешку ждало лето. «Каникулы!» – он произнес это слово, как всегда, по слогам и не почувствовал обычной радости. Странно. Вот сейчас можно убежать на речку, заглянуть в парк, где военные оркестранты продувают свои зеркально яркие трубы. Лешка любил рассматривать себя в них. Глянешь в одну – и ахнешь! Оказывается, тебя уже нет, а есть только о-огром-нейшие обвисшие щеки с о-огромнейшими и тоже обвисшими ушами. А глаз почти нет. Так себе щелочки. Будто их углем прочертили. Зато в другой трубе можно себя увидеть всего: от клока на макушке до пальца, проклюнувшего в сандалиии еще одну круглую, как мышиная норка, дырочку. Но лучше себя таким никому не показывать. Приплюснутый лилипуттик... Ухохочешься!

Лешка гладит шершавый портфель, щелкает ржавым замочком. Нет, идти никуда не хочется. Он слушает голоса за стеной – сердито выговаривающий бабушкин и виновато сбивчивый Фроськин. Ему почему-то кажется, что говорят о нем. Но не все ли равно? После этого взрыва все в доме стали говорить о Лешке особенно вкрадчиво, виновато и заботливо, будто о больном. А может, он и вправду заболел? Вот ведь ничего не интересно... Хоть бы Толик зашел, что ли?

За окном стоят, не шелохнутая, как нарисованные, деревья. Облетели они, словно огромные одуванчики. В саду, наверное, сейчас душисто пахнет усыпанная белоснежными лепестками земля. А здесь совсем иные запахи: выстиранного белья, дышащего керосином керогаза,

кипящего супа... Они изворотливо ползут из-под дверного просвета, и Лешке кажется, что, если хорошенько присмотреться, можно даже увидеть эти запахи.

– Лешенька, внучек, – слышит он голос бабушки, но медлит с ответом, невольно радуясь ласке ее слов. – Ле-шень-ка, – уже более требовательно звучит за фанерной перегородкой. И, наконец, доносится привычное: – Я кому говорю? Лешенька!

И он выходит. Вот они где, эти запахи. Будто паровоз, пышет мыльным паром деревянное корыто. В гряде выстиранной одежды Лешка узнает и свои штаны с тесемочными подтяжками. Бабушка гнется над корытом и яростно гоняет, мнет мыльную пену, вся окутанная серым облаком так, что и седых ее волос не видно. «Вот это да!» – мысленно восхищается Лешка, пытаясь рассмотреть низенький, оклеенный цветастыми обоями потолок коридора.

– А, явился! Неужто есть не хочешь? – бабушка вытирает о передник красные, распаренные руки и зовет на кухню. На табурете вздрагивает голубоватым пламенем керогаз, подкидывает крышку кипящая кастрюля. Бабушка как-то все успевает: и уменьшить пламя, и успокоить кастрюлю, и налить Лешке в миску зеленоватых шей, и хлеба отрезать... Фроська стреляет взглядом в Лешкин ломоть и обиженно шепчет:

– Всегда ему больше! Вон какой кусок...

А хлеб с черными крапинками картофельной шелухи и вправду вкуснее вкусного. Сам во рту так и тает, так и тает. Не зря бабушка жаловалась, что за него на базаре три шкуры дерут. Щи тоже что надо. Соли бы еще чуть-чуть! Только ее, видно, на базаре и за три шкуры не купишь... Лешка старательно облизывает ложку, с трудом отводя взгляд от укрытой полотенцем буханки. Вот это да! Обед словно для того и понадобился, чтобы напомнить о голоде. Теперь есть хочется еще больше.

Фроська тоже буравит глазищами буханку, трогает пальцами щербатый, с огромной деревянной ручкой нож и первая не выдерживает:

– Леша, давай мы еще по кусочку. Аккуратненько! Бабка и не заметит. Хочешь?

Лешка колеблется, жадно представляя тающий во рту хлеб. Потом мысленно видит, как подслеповато шурился бабушка, снимая с буханки полотенце, как удивленно шевелятся спрятанные в дряблых складках ее лица юркие морщинки. И поднимается. У дверей его настигает гневный шепот сестры:

– Ябеда! Ябеда!

Фроська шепчет так яростно, будто она уже отрезала себе хлеба, а он уже рассказал об этом...

Лешка лежит на кровати, приятно чувствуя податливую мягкость матраса. И когда только отец успел натолкать свежего сена? Но во всем теле что-то противненько ноет, выпрашивая. И уже трудно не думать о еде. Почему-то видится, как дымит, исходит паром чугунок рассыпчатого картофеля. Вот бабушка опрокидывает его в миску, и картофелины сталкиваются, трескаясь, сбивая кремовую мякоть. А по миске уже весело гуляет деревянный толкачик, и картофелины под ним исчезают, растягиваясь пышным пюре...

Но лучше всего Лешке видится та початая буханка. Вот бабушка откидывает полосатое полотенце, прислоняет хлеб к груди и бережно подносит к нему нож... Какой же он дурак, что съел свой кусок так быстро! Сидел бы сейчас и смаковал по кусочку. Все сытнее...

Сколько Лешка помнит себя, столько помнит и это противненькое чувство голода. Они, наверное, как близнецы, родились вместе. Хотя это, пожалуй, не совсем так. Где-то далеко-далеко, словно костерок в необозримом тумане, теплится воспоминание... Дом. Просторный, скрипящий новенькими, неутопанными половицами. Крыльцо с двумя щедро распахнутыми дверями. Из одной выскакивай прямо на узенький тротуар, из другой – во двор. А во дворе из-под забора кудрявится крапива, тянется листьями, на которых замерли наготове крохотные волосяные жала. Джульбарс и тот сторонится крапивистого забора. Он вытягивает рыжие лапы на осыпанные опилками «козлы», недовольно фыркает черным носом, потягивается... И такой

счастливый, умиротворенный зной разливается по всему двору, золотя и черепичную крышу, и лестницу, упирающуюся в карниз чердачного окна...

Нет, Лешка не помнит всего их довоенного дома. Хорошо видится только огромный обеденный стол. Какие-то цветные чашки и кувшинчики, яркие блюда... Мама, придерживая пышные каштановые волосы, протягивает Лешке ложку манной каши. Она упрасивает его, а он зачем-то плачет от ее ласковых, уговаривающих слов и отворачивается. Ну совсем не хочется есть эту густую кашу с желтыми пятнами масла... Капризно отворачивается он и от чашки парного молока, от длинного куса булки, намазанной маслом и щедро посыпанной сахаром... Тогда мама достает круглый сияющий кулич. Смеясь, подносит к его губам еще теплый кусочек. Но и теперь он чем-то недоволен, завистливо рассматривает, как рядом, за окном, грохочет телега, за которой весело гонятся босоногие мальчишки...

Лешка восхищенно представляет все это сейчас. Вот это да! С завистью, будто о ком-то совсем другом, думает о себе. Только, может, ему все причудилось, как тот костерок в зыбком тумане? Не мог же он, в самом деле, быть таким, чтобы воротить нос от сладкой манной каши, от булки, намазанной маслом, от солнечного кулича...

А голод все больше донимает. В горле шершаво и сухо. Но пить Лешка не спешит: стоит напиться – и есть захочется сильнее. Нет, какой же он все-таки дурак, что отказался от Фимкиного приглашения. Во всем виноват этот недотепа Борька Сорокин. Позавидовал! Кому?! Эх, надо было внимания не обращать. До него всегда с опозданием доходит. Еще спохватится. Он и контрольную первым всегда напишет, сдаст, а потом ходит вокруг Нины Ивановны и клянчит тетрадь – ошибки исправить бы...

И вдруг Лешка чувствует, что его щекам становится жарко. Стыдно, что ли? Он виновато трет кусочком резинки ржавчину на портфельном замке и болезненно морщится. Борьку оправдывать стал... Неужто ради пшенки с молоком? Лешка вспоминает Фимкину комнату – всю в каких-то коврах и скользких шелковых занавесках, книжный шкаф, прячущий за тусклым стеклом большие и красные, точно кирпичины, старинные книги. Вспоминает Фимкину маму Раису Семеновну с черными, чем-то напоминающими крыло вороны, волосами. Они так похоже и зачесаны – набок. И вообще, в ней чувствовалось что-то воронье: остренький и длинный носик, какая-то скачущая походка... А все-таки каша у них отличная! Густая, разваристая! Бабушке той пшенки, наверное, дней на пять хватило бы. Фимкину кашу без молока и не проглотишь...

В последнее время он частенько сворачивал после школы к Фимке. И всегда на лестнице у туго одетой в клеенку двери его встречал аппетитный запах. Лешка невольно останавливался, удивляя друга завистливым вздохом: «Вот это да!»

А к ним уже торопливо подсакивала Раиса Семеновна, рывком притягивала к себе Фимкину голову и слепо гладила, будто удостоверяясь, что с ее любимым сыном ничего не случилось. Но самое невероятное было в том, что Фимкины глаза при этом блаженно шурились совсем по-кошачьи. Руки Раисы Семеновны все суетились, и широченные рукава ее халата трепетали, будто крылья.

– Годной, догогой сынуля! Ты же не будешь дгужить с этими пагшивыми мальчишками, котогие дегутся, как петухи? – по-вороньи картавя, осыпала она Фимкину голову словами. И, казалось, ими тоже гладила ее. – Что же ты молчишь, догогой?

Но Фимка уже спохватывался, вспоминая о Лешке, который стыдливо переминался с ноги на ногу, с ужасом замечая на голубовато-красном праздничном коврике пыльные следы своих сандалий. И Раиса Семеновна тоже смотрела на эти следы. Вздыхала. Брала из рук сына портфель.

– А ну, покажи, догогой, свой дневник. Ой-ей-ей, что я вижу?! «Четвегка» по арифметике? Стыдно! Ты сегодня очень огогчишь своего папочку. Он увеген, что у тебя математи-

ческое мышление... А у Лешки что? – Раиса Семеновна спрашивала у Фимки, но смотрела почему-то на Лешку.

– Пятерка, – приглушенно отвечал Фимка, и Лешка почему-то стыдился своих отличных оценок. Он по-прежнему переминался, растаптывая на коврике свои следы, и очень хотел сейчас же получить несколько «троек», чтобы хоть как-то угодить Раисе Семеновне.

А она снова картавила:

– Вот видишь, догогой, Лешка голодный, а учится на «пятежки». А ты? Чего тебе не хватает? Ну?

Лешка понимал: говорит она это только для того, чтобы сказать, что знает о его голоде. И он стыдился этого еще больше, чем своих «пятерок». Ему вдруг становилось невыносимо жарко в уютной, шелестящей цветными гардинами комнате. Майка липла к спине, лоб противно потел, и Лешка трогал его тоже влажным рукавом рубашки.

Наконец, они садились к столу. Раиса Семеновна, все еще вздыхая, нарезала хлеб и ставила две тарелки желтой пшеники, наливала два стакана молока. Лешка сдерживал себя изо всех сил, медлил, но каша как-то сама собой исчезала. И тогда, будто на контрольной по математике, Фимка воровато оглядывался и подсовывал ему, как листок с условием задачи, свою тарелку. Лешка, не поднимая головы, отодвигал порожнюю и, уже почти не чувствуя вкуса, доедал его кашу. Потом неожиданно холодел от ужаса, замечая за спиной молчаливого Фимкиного деда. Тот дрожал желтыми, как бы молящимися, руками и семенил к шкафу с книгами. Но по хитреньким уголкам глаз старика, ловко спрятым под еще черными взъерошенными бровями, Лешка чувствовал: все-то он видел...

– Ну и на здоговье! Молодец! – брэнчала посудой Раиса Семеновна. Потом вроде не о Лешке, а о ком-то другом, кого здесь нет, добавляла: – Если не учиться, так хоть есть он тебя, может быть, научит.

Лешка снова душно краснел от этих слов, и ему очень хотелось быстрее выскочить в коридор, на улицу – с разбегу нырнуть в спасительный ветер. Но теперь-то как раз этого делать было нельзя. И он еще долго что-то втолковывал рассеянному и почти равнодушному к домашним заданиям Фимке. Тоскливо ругал себя мысленно и в который раз думал, что его сюда больше на аркане не заташат. Но голод, словно невидимой плетью, гнал снова и снова к чистеньким, одетым в черную клеенку дверям, из-под которых струились такие аппетитные запахи...

Сегодня Лешка впервые устоял. И, по правде говоря, ни Борька Сорокин, ни Фимкина мама, ни даже всевидящий Фимкин дед здесь ни при чем.

Фасоль

– Лешенька-а! Ты там не уснул ненароком? Я кому говорю? Лешенька! – требовательно допытывается бабушка.

«Ну чего ей там надо?» – недовольно думает Лешка. Ему совсем не хочется уходить из этой оклеенной линиями обоями комнаты, из своих мыслей. А они уже испуганно смешались от бабушкиного крика, будто зыбкие тени облаков на воде, подхлестнутые порывом ветра.

– Чего тебе, ба? – Лешка распахивает двери и стоит, застегивая покрытый трещинками, ремешок. Собственно, он и ни к чему его брюкам. С них и двух бабушкиных пуговиц достаточно. Но Лешка очень гордится подарком. Еще бы! Когда-то на этом ремешке держался отцовский фронтальной планшет.

– Ба, чего тебе?

Но бабушка молчит. Характер демонстрирует, что ли? Дескать, ты меня не слышал сразу, и мне тебя не слышать. Любит она пословицы да всякие поговорки. Не замечает Лешки. Стучит себе деревянным, будто плоскодонка, корытом, подвешивая его на изогнутый вопросительным знаком крюк. Снимает мокрый, вроде тоже стираный передник и облегченно вздыхает:

– Ну, вот и все. Будете ходить в чистом. Отстиралась. Теперь только повесить сушиться. И конец – делу венец. Правильно, внучек? – неожиданно повеселев, обращается она к Лешке. А глаза карие так и светятся лукаво.

«Сейчас пошлет веревку меж яблонями натягивать для белья», – думает Лешка. А бабушка все допытывается:

– Я тебя зову, а ты там притих, словно мышь под веником. Спал, что ли? Так вот знать должен: бездельник, он сколько ни спит – все спать хочет. Ну-ну, это к слову, ты на меня не сердчай. Знаю, что хорошо пятый класс окончил. А бездельник потому, что без дела остался, – бабушка еще пуще заулыбалась, видимо, довольная тем, что так ловко ушла от Лешкиной обиды.

Чего ей надо? Дала бы веревку и отпустила, а то как нарочно...

– Фасоль-то, небось, любишь, а? – уж совсем донимает его бабушка. А сама сидит, как ни в чем не бывало, на табурете, уложив отдыхать на коленях все еще красные от горячей воды руки. – Ну, а коли любишь, то возьми в кухне на полочке торбочку из-под крупы и беги к складу овощной конторы. Там фасоль разгружают и рассыпали немного. Чего добру пропадать? Недавно Матрена Яковлевна Толика туда спровадила. Вот и я думаю...

Дальше Лешка уже не слушал. Схватил с полки полотняный мешочек с длинными обвязками и побежал. Ну и бабка, ну и говорунья! Уже давно там был бы. И Толик Щегол тоже хорош! Как пескарей ловить – вместе, а за фасолью и не позвал. Ничего, это он ему еще припомнит! Пусть теперь сам волос для лески у коммунхозовской кобылы из хвоста таскает. Фасоль... Лешка сердито стучал по асфальту и без того хлипкими сандалиями. Нырнул в липовую аллею, и шаги на песчаной дороге стали глуше. Где-то в парке плыли мимо кленов и берез звуки «Амурских волн». Музыка лились свободно и празднично. Лешка представил на голубоватой веранде оркестрантов, заслоненных золотистыми трубами. Но это только на мгновение. Свернул на тропинку, которая спускалась с приречной горки, и вбежал в затененный домами двор конторского склада. Склад этот, длинный и низкий, как сарай, перегораживал изъезженную дорогу. Она как-то нелепо натыкалась на него с разбегу и, казалось, исчезала в сумрачном проеме распахнутых ворот...

Лешка сразу охватил взглядом и грузовик с откинутым бортом, и тугие мешки, и обшарпанные дощатые стены, и грузчика в пыльной широкополой шляпе. Только потом за огромным дощатым ящиком заметил Толика Щеглова, Венюку Вишина и Серегу Шивцева. Они копоши-

лись в песке. Рядом с Серегой уже не лежал, а оттопырено стоял солидный мешочек с красной заплатой на боку. Но Серега все черпал и черпал цепкими пригоршнями.

– Чего ты песок гребешь?! У тебя ж в торбе его больше, чем фасоли! – внушал ему Толик.

– Ничего, Щегол, дома разберемся! Песочек – во двор, а фасолинки – в кастрюлю.

Правда, Вень?

Капли пота срывались с рассыпающихся волос Сереге. Он устало улыбнулся и вдруг настороженно притих, заметив Лешку. Торопливо пододвинул к себе торбочку, как бы защищая ее.

– Не дрейфь, Серега, не нужен мне твой песочек! А ну, подвинься лучше... артист! – Лешка присел, нетерпеливо запуская руку в еще влажный липкий песок. Ага, вот они! Две беленькие глянцевитые фасолинки! Он опустил их в торбочку и зачерпнул песок уже двумя руками, просеивая его сквозь пальцы.

– Лешка, давай сюда! Там мы уже обшарили, – позвал его Толик.

Задабривает! Один сюда прибежал, а теперь... Но, видно, они тут и впрямь все пропахали. Лешка стяхнул с колен песчинки, а вмятинки от них остались.

– Болит? Я тоже сначала так обжегся. Он ведь мокрый – колется. Ты торбочку стели. Соберешь – высыпь – и опять под колени, – участливо гудит голос Толика.

Молодец, Щегол! Здорово придумал. Со-об-ра-жает! Но позвать с собой не смог – пожадничал. Вон сколько уже насобирал – скоро самому под ноги стелить нечего будет – на фасоли не устоишь.

– А я думал, тебя дома нет. Вместе бы... Ты бери вот здесь. Видишь, цветная.

Лешка уже хотел ему напомнить про индюка, который тоже думал, да в суп попал. Но... не может долго злиться на Щегла, когда видит его чуть виноватые раскосые глаза, когда слышит этот вкрадчивый голос. Он молчит, рассматривая пристально белые, коричневые и синеватые фасолинки. Опускает их в торбочку и снова гребет, гребет, радостно чувствуя твердые перламутринки. Вот это да! Ну и суп им сварит бабушка! Такой, что хоть без хлеба ешь – все одно сытно. Лешка даже ощутил во рту этот вязкий, крахмалистый вкус вареной фасоли.



А рядом монотонно стучал задетый грузчиком борт машины, пыльно шуршали чьи-то рыжие ботинки, где-то в глубине склада звякали гири. Но Лешка, не поднимая головы, все греб и греб песок.

– Тут один грузчик мешок уронил. Вот и рассыпалось немного. Первыми заречные хлопцы заскочили, – слышит он все такой же виноватый голос Толика. – На рыбалку вечером сходим? Я и червей припас...

– Сходим. Только ты в следующий раз не жадничай. А то и позвать побоялся, – сдается, наконец, Лешка. – Бати моего здесь не видел?

– Тут он, в складе, – с готовностью отозвался Толик, довольный примирением. И даже улыбнулся, будто обрадовал ответом. Откуда ему знать, что Лешка ох как боится этой встречи с отцом, который ему раз и навсегда запретил появляться у склада.

Лешка гладит пальцами фасолинки и уже не слышит, о чем шепчет ему Толик, не видит грузно протопавших у самых его рук рыжих ботинок. Знакомым оглушающим звоном полнится голова, вспыхивает солнечными искорками, пышет жаром перед глазами песок. «Это с голодухи, с голодухи... Сейчас пройдет. Пройдет... Вот сейчас...» – сам себя успокаивает Лешка, и даже глаза прикрывает. Звон становится тише, будто гаснет вместе с теми искорками. Снова бренчит, гулко ударяясь железной защелкой, откиннутый борт машины, снова покачивается мешок на широкой спине грузчика, и дзинькают гири в темной глубине склада... Венька, низенький, с крапинками веснушек на лице, сердито морщит узенькую полоску лба, о чем-то споря с Серегой. Но голоса Веньки почти не слышно. А вот Серегин словно в рупор громыхает:

– Больно возносится твой Леха! Мой батя сказал, что если скажет где надо, так его батя костей не соберет, потому как партийный. Ясно?

– Ты опять обо мне? – Лешка встает, с трудом приподнимая и этот снова хлынувший в него оглушительный звон. Почти не слыша себя, сдавленно кричит: – Ну ты, артист!? Не трожь моего батю, а то носом пахать песок заставлю! Понял?!

Венька испуганно подскакивает к нему и хватается за руки:

– Леха, ты его оставь, оставь... Я им сам займусь. Не здесь... Будь спок! Пусть и на моего батю жалуется. Мой тоже партийный был...

Странные руки у Веньки – корявые, с красноватыми следами царапин. А ласковые, прохладные какие-то. И дрожь унимают. Вот это да!

Лешка знает, что когда-то, до войны, их дома стояли рядышком, как говорит отец, одним забором обнявшись. Но нет теперь этих домов. Нет и Венькиного бати – под Сталинградом погиб. А сам Венька живет весело, как... мячик. И бьют его, и толкают, да ему это нипочем. Надо в чужой сад забраться – сквозь самую колючую проволоку прорвется, надо – на одном коньке с Виленской горы промчится. И бока намнет, кому захочет. Малышня несмышленная за ним – ватагой. Правда, в последнее время вроде притих Венька, осторожнее стал, словно сам себя беречь начал. Но вот теперь прежний...

Лешка опускает в торбочку сразу пять беленьких фасолин, и ему приятно думать о Веньке, о его матери – тоже низенькой, сгорбленной, молчаливой. Многие в поселке помнят ее совсем молодой, веселой. А теперь цепляются скорбными взглядами за почти обесцвеченную от времени курточку да истертую черную юбку, в которых она ходит и зимой, и весной, и осенью, и летом.

Солнце уже расплывчато таяло, и первые грозовые тучи сумрачно темнели над заречным лесом. Налетел, отяжеляя тополиные ветви, влажный ветер. Над косогором взвился столб пыли.

Заторопились и грузчики. Один из них ткнул толстым обкуренным пальцем в угол мешка, расширяя дыру и, прикрыв ее, словно заплатой, широкой ладонью, хитровато прищурился. Потом взвалил мешок и медленно пошел, опасливо взглядываясь в распахнутые ворота склада. Возле Серегина Шивцева грузчик вдруг отнял заплату-ладонь, и густая струйка фасоли

потекла к ногам Сереги. Вот это да! Лешка даже опешил от неожиданности. Ничего себе подарочек! А Серега уже жадно загребал фасоль, захватывая ее вместе с песком.

– Мое! Не трожь! – заступил он дорогу Веньке.

– Привет Кондрату Павловичу, – скуластый грузчик весело смотрел на Серегу. Потом легонько отодвинул все тем же прокуреным пальцем взъерошенного Веньку: – Ну-ну, петух! Не балуй!

– А кто это – Кондрат Павлович? – обернулся Лешка к Толику, когда скуластый снова ушел к машине.

– Не знаешь разве? – Толик сердито сплюнул серую от пыли слюну. – Он и есть батя Сереги... А вон и твой...

Лешка испуганно поднял глаза и увидел отца. Тот стоял у ворот, опасливо вглядываясь в низкие лилово-черные тучи. В курчавых волосах застряла золотистая соломинка... Хотя бы не заметил, хотя бы... Лешка медленно отползал за спину Толика. Но отец уже шел к нему, нервно впившись пальцами в широкий офицерский ремень.

– Ты-то что здесь делаешь? Я ведь тебя, сын, просил: сюда ни шагу! А ну, покажи! – он вырвал из Лешкиных рук почти совсем пустую торбочку и шагнул за порог склада.

– Сейчас насыплет тебе полнехонькую, не хнычь! Что ему – этой фасоли жалко? Сын ведь! – пробасил за спиной скуластый грузчик. И вдруг лицо его удивленно вытянулось. Да и Лешка ахнул, увидев, как отец в полумраке склада вытряхивает фасоль из его торбочки в развязанный, но и без того полный мешок, который стоял у зеленоватых весов, будто огромная колода.

– На свою торбу – и марш домой! – отец швырнул Лешке белый полотняный комок. – И вы тоже!

Лешка не успел опомниться, как всех словно ветром сдуло. Последним, неловко удерживая увесистый мешочек, вприпрыжку бежал Серега. А Лешка комкал в руках торбочку и брел, не видя сквозь слезы дороги...

Бабушка встретила его у калитки. Молча прижала к себе:

– Успокойся, Лешенька... Я уже все знаю. Мне Толик рассказал. Что делать, что делать? Он всегда такой был. Думает, если коммунист, так должен с голоду помирать. Успокойся, Лешенька. Я кому говорю?

Она, как слепого, провела его в комнату, усадила на постель.

– Отдохни... Я сейчас чаю согрею. Хлеб еще, слава Богу, есть...

Лешка лежал, а потолок над ним плыл, то снижаясь к самой кровати, то совсем исчезая. Он думал о себе, о матери, о бабушке, об отце.

Мама

Мама... Лешка помнил ее, конечно, не только в то свое капризное утро, когда так глупо воротил нос и от манной каши, и от булки с маслом, и даже от румяного кулича. Надо же! Кто знает, может, поешь он тогда, как следует, – и сейчас бы не мутило от голода. Лешка все еще досадует на самого себя, а память как бы высвечивает в темноте лицо матери...

Вот они куда-то бегут. Качается и пропадает в удушливом дыму дорога. Ни дождя, ни грозы. А небо все в огненных пересверках. Топот бегущих ног, сплошной несмолкаемый крик, истошный вой, металлический скрежет – все это сливается в протяжное и стонущее: «А-а-а! А-а-а!» Лешка испуганно ерзает на маминой руке, жметя к ее мокрому от слез лицу. Маминых ног совсем не видно в черном дыму, в разворошенной пыли. Кажется, что все они вовсе и не бегут, а плывут в этой бездонной черноте и тонут, тонут... Потом Лешка вдруг замечает, что мама волочит какой-то узел, за который держится и тоже плывет, барахтается Фроська. Лица сестры он не видит, лишь ярко-белый бант нелепо высвечивается. Она что-то кричит, но Лешка ничего не слышит. Только мама вдруг выпускает серый, словно клуб дыма, узел с вещами, хватает Фроськину руку, и они каким-то чудом скатываются прямо к запыхавшемуся краснополосому паровозу.

Он не помнит больше ничего из этого горящего войной времени. Ну конечно же, они ехали, млели от жары, мучились от голода. Но Лешка не помнит. Будто и не было ничего такого в его жизни.

А потом – Казахстан. Теперь он знает, что это одна из советских республик. И что фашистов туда не пропустили. А тогда была просто серая степь прямо у порога глинобитного домика, в котором они с сестрой и матерью прожили несколько военных лет...

Мама... Она помнится ему худенькой, высокой, может быть, потому, что сам он был тогда еще совсем мал. В глазах ее, будто до блеска вымытых слезами, жила такая тревога! Странно, но он яснее всего помнит эти карие, тревожно округленные глаза. Помнит их совсем близко от своего разгоряченного лица. Лешка никак не мог охладить его о колкую, набитую соломой подушку. Тогда он лежал на какой-то скользкой кафельной плите, с ужасом чувствуя, как все больше набухает язык и полнится рот разбухшими деснами.

Он еще ничего не знал о своей болезни, которую все называли непонятным и страшным словом «цинга». Не знал и того, что, спасая его, мать отнесла на базар свое лучшее платье. Продала ради щепотки соли и нескольких крохотных головок чеснока. Она натирала ему этим чесноком десны, и слезы срывались с ее глаз. А Лешка скользил лохмотьями по плите, не понимая, зачем мама делает ему еще больнее...

Теперь Лешка досадует на самого себя. Ну как это его память смогла растерять столько событий! Да и то, что видится – видится ему смутно. Как на снимках Толика Щеглова. Недавно Лешка видел их – серые, точно занавешенные туманом квадратики. На одном проступают только чьи-то глаза, на другом – рука с чуть различимым ведром, на третьем – то ли дом без крыши, то ли стена какого-то сарая. Все смеялись над Толиком и над его крохотным немецким фотоаппаратом. Фроська даже горе-фотографом обозвала, никак не желая признать в руке с ведром свою руку. Толик оправдывался отсутствием резкости, смущенно комкал хрусткие квадратики. И вдруг достал из черного пакетика такую фотографию, что все они только рты раскрыли. Вот это да! Матрена Яковлевна! Она глянула на них всем своим сухоньким, исчерканным морщинами лицом, прищуренными узенькими глазками. Все было, как есть: и завязанная плотным узлом косынка, и жесткий брезентовый передник. Лешке даже показалось, что сейчас она разомкнет тонкие, почти невидимые губы и недовольно буркнет свое обычное: «Принесла вас нелегкая...» Но, пожалуй, самое удивительное было то, что за спиной Матрены

Яковлевны отчетливо виднелся и забор с перекошенной калиткой, и даже глиняный кувшин, который Лешка совсем недавно повесил сушиться на одну из березовых жердочек...

Вот так и Лешкина память. То вдруг выставит перед глазами какой-то вагон, какие-то полки, с которых свисают удушливо пахнувшие потом лохмотья, то грязное, в подтеках черной копоти, вагонное окно. Все, летящее мимо него, тоже кажется измазанным. Да и сам Лешка, наверное, коснулся лицом этой въедливой копоти, потому что мама незнакомо смеется, слюнявит свой платочек и трет, трет им Лешкины щеки... Потом опять все неясно, расплывчато. И вдруг всплывает в памяти новенькое крыльцо, вокруг которого еще кудрявятся золотистые стружки. Видится доброе и грустное лицо какой-то женщины. Вот она протягивает Лешке ломоть желтовато-белого пышного хлеба. Фроська, вся закутанная, словно плащ-накидкой, серым байковым одеялом, бережно ломает свой кусок, шепеляво приговаривая: «Мама, на, шпрячь. Это Шашке. А Шемке?» И тогда женщина выносит еще два ломтя! Ну и хитрюга эта Фроська! Выдумала каких-то Сашку да Семку. А мама испуганно заталкивает под шапочку темную прядь, суетливо дергает Фроську за руку.

И еще видится какая-то лошадь в белом игольчатом инее да черные следы копыт на снегу, которые будто пробили собой зиму... Опять вагон. Но теперь уже сизый от дыма. Двор – весь в кирпичной пыли. А рядом огромная гора битого кирпича, красных досок, ржавого железа. Между двумя кирпичинами весело брызжет искорками огонь. Мама плещет из кастрюли на шипящую сковороду тертым картофелем, и у Лешки голова кружится от горячего запаха. Он обжигается, перебрасывает с ладони на ладонь румяные драники.

Где это? Когда такое с ним было? Лешка никак не может по-настоящему узнать себя в зыбких, ускользающих воспоминаниях. Наверное, точно так же, как не может Фроська узнать своей руки на Толиной фотографии. Но есть у него, Лешки, воспоминание – отчетливое, словно тот снимок Матрены Яковлевны.

Базар... Он обрушился на Лешку скрипом телег, истошным визгом упрятанных в мешки поросят, испуганным гоготом связанных гусей, перепутанными орущими голосами, тоненьким звоном стекла, сердитым ржанием коней и горестной просьбой: «По-одай-те сле-епому ка-алеке!» Суматошная толчея подхватила и понесла Лешку среди бречащих медалями кителей, промасленных телогреек, пестрых цыганских юбок, вдоль дощатых прилавков, заваленных полосатыми арбузами, бледными дынями, краснобокими яблоками, огненными помидорами, солнечными тазами, зелеными корзинами, черными сковородами, синими резиновыми бахилами...

– Мамочка! – Лешка испуганно закричал, уже почти не чувствуя своих онемевших пальцев в руке матери, все больше путаясь в тяжелом длиннополом ватнике. – Ма!..

Оглушенный и ослепленный базаром, сдавленный чьими-то спинами, локтями, тугими свертками, шершавыми мешками, Лешка теперь боялся только одного – оторваться от спасительной руки матери.

Но вот отплыла в сторону огромная, как лодка, корзина, в которой сидели гуси с длинными, вытянутыми шеями. Отступила чья-то спина в черной кожанке – и они будто на поляну вышли. Рядом сердито клокотала, шутила, смеялась, переругивалась, сорила семечками и сдавленно текла мимо толпа. Ветер лениво трогал раскиданные им же ключья рыжеватого сена. Пегая низкорослая лошадка распряженно стояла между опущенными оглоблями и воровато выдергивала сено из-под сидящей на телеге бабки. Лошадка скосила на Лешку большим круглым глазом, как бы говоря ему: «Вот видишь, так жрать хочется, а она подмяла под себя самое лучшее сено. Выщипываю помаленьку».

Бабка торговала яблоками. Она была вся окружена ими, как дерево, краснобокими, желтыми, розовыми... Стучали о чашу весов черные гири. Виновато опустив рогатую голову, стояла привязанная к столбу корова...

Маленькое красное яблочко вдруг сорвалось с весов и покатилося прямо под ноги Лешке.

– Трымай, хлопчык, гэта твае! – крикнула ему бабка.

Лешка отпустил мамину руку, наклонился к колесу телеги и оторопел: рядом с яблоком лежали... деньги! Красновато-зеленые, плотно смятые в комок, они торчали из-под серебристого обода. Деньги? Сколько раз мама безжалостно обрывала все его просьбы одними и теми же словами: «Нет денег, нету-у, понимаешь, сынок?» Но вот они, эти деньги! Лешка накрыл их рукой и словно обжегся. Отдернул руку. Снова накрыл. Зажал в кулак и понес его маме. А мама испуганно смотрела на него, зачем-то трогала ладонями свои щеки, беспокойно оглядывалась. Лешка подошел к ней и осторожно опустил разбухший кулак в карман маминого пальто. Судорожно разжал пальцы. И тут же заметил деньги у маминых латанных и перелатанных резиновых ботинок. Лешка снова поднял хрустящий комок и снова опустил его в тот же карман. А он опять увесисто шлепнулся у маминых ботинок. Лешка наклонился, но чьи-то грязные, бородавчатые пальцы из-под самой его руки выхватили деньги. Звонко ударили по холодной, гулкой земле босые ноги, затрепетали по ветру клочья рубахи. И вот уже где-то за рожим косогором, за черной трубой водокачки ныряет в осеннюю синеву взъерошенная голова босоногого мальчишки. Бегут, убегают Лешкины деньги, не купленные ливерные пирожки, арбузы, дыни...

– Дурак, дурак! – взрывается криком Фроська и даже платок сдвигает с лица, чтобы кричать лучше было. – Дурак, дурак! Ну чего ты туда совал?! Чего?! Ведь этот карман дырявый! Дырявый!

А мама все так же оцепенело стоит, трогая свою желтую шляпку с черной шелковой лентой. На впалом лице то жарко вспыхивают, то гаснут алые стыдливые пятна. Дырявый... Дырявый... Ну конечно же... Как это он не понял сразу?!

– Хлопчык, бяры! То ж твае яблыка! – снова кричит ему бабка с подводы.

А он и сам видит то яблоко. Маленькое, красное. Вон оно у обода, почти там, где только что лежали деньги. Но Лешка не может сделать и шага... Дырявый... Дырявый... А мама? Что же она? Почему не задержала рукой те деньги?

Бьют Лешку со всех сторон вкусные запахи жареных пирожков, сладких сочно-красных арбузов... Почему? Задаёт он себе все тот же вопрос и сегодня. Ведь могла задержать. Могла! И, может быть, те деньги помогли бы ей самой вы-жить, вы-жить! Что помешало тогда матери? Какое чувство? Неужто то самое, которое заставило и отца вытряхнуть сегодня две горсти фасоли из Лешкиной торбочки в конторский и без того полный мешок? Ну конечно же... Лешка еще не знает, как называется это чувство. Но он обязательно узнает и постарается понять его. А в памяти всплывает и то, от чего зябкий страх и сегодня – уже осознанно – знобит спину.

Под расстрелом

– Женька! Топчи к нам. У нас тут компания неполная: два офицера и одна я – рядовая! – кричит, пьяно хохоча, их соседка Марья Павловна. От ее крика и смеха вибрирует даже тоненькая фанерная перегородка. Мама тоже испуганно вздрагивает, обнимая его и Фроську, словно ищет себе защиты. Молчит, не откликается.

– Женька! Ты что, оглохла? Да оставь своих голодранцев! Посиди с нами! – не унимается голосистая соседка. – У нас тут жратва, какая тебе и не снилась.

– Можно не только посидеть, но и полежать, – противно хихикает уже знакомый мужской голос. – Да что ты надрываешься? Сейчас я ее под пистолетом приведу. Отказывать советскому офицеру-победителю никому не дозволено.

Загромыхала сердито отброшенная табуретка, но, прежде чем распахнулись фанерные, обитые деревянными брусочками двери, мама успела затолкать его с Фроськой под кровать, застланную досками и санным матрасом. Успела и сама нырнуть к ним. Теперь Лешка видел только пыльный сапог офицера. В какое-то мгновение показалось, что именно им он может случайно ударить его по лицу. И Лешка в испуге отшатнулся, задев сестру локтем. Та недовольно зашевелилась, что-то проворчала. И офицер их обнаружил.

– Так вот вы где! Под кроватью лучше валяться, чем разделить компанию с боевым офицером?! А ну, вылазь! Все! Я с вами поговорю иначе. По-нашему, по-фронтовому!

Довелось выбирать. Лешка с удовольствием выскочил первым. Тесниться под кроватью ему вовсе не хотелось. Тем более что из распахнутых дверей ошеломляюще пахло американской свиной тушенкой. Запах этот ему был хорошо знаком. Совсем недавно именно Марья Павловна им вынесла початую жестяную банку этой вкуснятины и сказала Лешкиной маме: «Я не рискую есть. Дня два стоит эта жестянка открытой. А ты сваргань какой суп своим голодранцам. Съедят, небось, не отравятся...» Суп действительно был что надо. Правда, сколько ни старался Лешка зачерпнуть мясо со дна кастрюли, ничего не получалось. Растворилось оно, словно исчезло, оставив только вот этот ошеломляющий запах. И теперь Лешка тоже с голодной жадностью вдыхался в него, совсем забыв о пьяном офицере. А мать, расправляя помятую клетчатую юбку, выговаривала прищельцу: «Я не могу оставить детей. И вообще, не могу. Не по мне это. Я жена такого же фронтовика! Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Вы не смеете!..»

– Это я-то не смею?! Что ты, дурочка, мелешь? Я все смею!» – он резко повернулся, едва не упав. И только теперь Лешка заметил в его правой руке немецкий пистолет «Вальтер». Точно такой он видел у кого-то из вернувшихся фронтовиков. Вот это да! Подержать бы его в руках! Но разве попросишь? А между тем тот их гнал уже к погребу. Наклонился, рванул на себя разбухшую от сырости крышку люка и, отбрасывая ее, едва сам не свалился в дохнувшую мраком яму. Лешка даже хотел было удержать его, но тот уже стоял поодаль, грозно размахивая пистолетом:

– А ну-ка, становитесь! Вот здесь! – и ткнул маму в плечо дулом пистолета.

В ответ она зашлась таким криком, какого Лешка от нее никогда не слышал:

– Ты что это, пьяный дурак, задумал?! Вернется муж с фронта, он тебя живого в клочья разорвет! – на ее щеках кругами проявлялись и исчезали красные гневные пятна.

Но кривоногий офицер словно и не слышал ее:

– Щас замолчишь, сучка! Навсегда замолчишь, – бормотал он, вращая перед матерью пистолетом. Маленькие рыжие глазки его прицельно шурились.

И тогда она отчаянно закричала в приоткрытые двери соседней комнаты:

– Марья, черт тебя побери! Успокой этого пьяного дурня!

– Мамочка, я боюсь! Я не хочу, чтобы меня стреляли! – истошным криком вдруг зашлась рядом с ней и Фроська.

Заскрипели, будто застонали, пружины матраца и, на ходу затягивая ремнем гимнастерку, появился, недовольно шурясь, капитан.

– Ну, что тут у вас происходит? Погоди, Николай. Чем ты собираешься их стрелять? Покажи? – он ловко забрал из дрожащей руки пистолет. Отвернулся на мгновение. Что-то покрутил в нем, высыпая себе в ладонь пули, и возвратил пистолет другу. – На, теперь можешь стрелять.

Капитан заспешил к Марье Павловне, а офицерик в бессильной ярости шелкал и шелкал курком, напрасно целясь в них. И Лешка не переставал улыбаться. Ему с самого начала казалось, что дядя шутит. Зря мама подняла такой крик. Сколько раз они с пацанами вот так играли в войну, целясь друг в друга игрушечными пистолетами. Правда, на этот раз пистолет-то был настоящим. Но разве мог бы советский офицер стрелять в них?! Ерунда какая-то!

А между тем их конвоир уже сам бежал в соседнюю комнату с криком:

– Ленька, что ты сделал с моим пистолетом: не стреляет!

Мама не стала терять ни минуты. Подтолкнула их к входным дверям, спасительно распахнула и заставила бежать за собой в сияющую снегом тьму ночи. Она хватала, прижимала к себе на бегу то Лешку, то Фроську, захлебывалась словами: «Это ж что пьяный дурак придумал?! Пережить эвакуацию и почти всю войну... Вернуться на родину и погибнуть от дурных рук своего же офицера!.. Нет, я не могу этого представить! Не могу-у!...»

– Mamочка, мне холодно! – напомнила о себе Фроська. – Куда мы бежим?

– И действительно, куда? – приостановила она их на мгновение. – Надо в другую сторону. К тете Фене. Больше не к кому.

Окна в избе маминой сестры были уже темными, но мать решительно постучала. На встревоженный отклик: «Кто там?» – ответила слезно: «Открой, Фенечка, это я с детьми. Потом все расскажу...»

Едва выслушав сбивчивый рассказ матери, тетя Феня решительно погасила свет:

– Забирайтесь на печь, а я уж на топчане переночую. И тихо. Неровен час и сюда заявится ваш добродетель паршивый! Прости, сестра, покормлю я вас утром. Чем Бог послал. А сейчас лучше не искушать судьбу. Спите.

И вскоре сама показала пример быстрого засыпания: захрапела так, что капризная Фроська, как всегда, не выдержала первой: «Ма, ну чего она так? Поди, разбуди ее, пусть повернется, тогда и храпеть перестанет», – попросила она. Но мать словно и не расслышала ее. «Это ж надо! Что надумал пьяный дурак! Расстрелять нас перед погребом... Фашистам не удалось, а он, свой, мог это сделать... И ведь мог!»

Под их голоса Лешка провалился в сон, так и не осознав тогда, что побывал под расстрелом.

Счастливым и горестным днем

Уверенно расположился в Лешкиной памяти и еще один день – такой счастливый и горестный! Девятое мая 1945 года. День Победы.

Утром окно загрохотало всей старенькой, черной от сырости рамой. Лешка даже одеяло на голову натянул, обреченно ожидая, что вот-вот рассыплется склеенное по трещинам полосками бумаги стекло. Но грохот вдруг стих. Только оно все еще тоненько звенело, будто жалужься. Лешка выглянул. Ничего не случилось. И окно на месте. И желто-бурые влажные пятна все так же ползут по стене, а штукатурка в углу сердито оттопырилась. Того и гляди, начнет глиной шпунуть. Но что такое? Теперь грохочет соседнее окно. Да как! Лешка выбрался из своей тепленькой норки, сооруженной из мамино пальто, телогрейки и байкового одеяла. Вскочил на стул, затем на подоконник. Дернул за ржавый крючок форточку. И вздрогнул, пропуская в комнату яркое утро. Потом выглянул и увидел дядю Сенью, который колотил костылем в окно, хрипло выкрикивая:

– Эй, люди добрые! Так и Победу проспять можно! Война окончилась!

Китель его распахнут ветром, впалые щеки радостно розовеют.

– Ура-а! – Лешка спрыгнул с подоконника на пол. – Ура-а! – стянул простыню с посапывающей Фроськи, и та забарабанила ногами, словно не на полу лежала, а плыла по реке. – Вставай! Так и Победу проспять можно! Война окончилась! – прокричал ей Лешка прямо в лицо слова дяди Сени.

– Вот полоумный какой-то! – привычно проворчала Фроська, зябко натягивая простыню. И вдруг, сдув с лица кудряшки, вскочила: – Что? Война? Окончилась? Кто тебе сказал?!

Длинноногая, в коротенькой рваной на плече рубашонке, она запрыгала, как бы обжигаясь о холодные половицы. А в доме уже радостно открывались окна, и было слышно, как на площади о чем-то торжественно вещал репродуктор.

– Ой, правда! Война окончилась! Ско-ро папа при-едет... – Фроська сидела на единственном в комнате стуле и растягивала слова, словно на радостях говорить разучилась. Она прижимала к себе вылинявшее, недавно пошитое из двух стареньких гимнастерок платье точно так, как тогда, когда мама впервые принесла его от портнихи. – Ой, Лешень-ка! Сейчас победим, надо маму обрадовать!

Лешка уже подвязал бечевкой жесткие, будто брезентовые, брюки и теперь наматывал на ногу портянку. Наматывал не столько для тепла, сколько для ботинка, в который, наверное, без труда вместились бы еще одна его нога. Он зашнуровывал этот широкий и неуклюжий, как утюг, ботинок, не замечая того, что весело приговаривает одно и то же: «Ско-ро папа-а при-едет! Ско-ро папа-а при-едет!»

А Фроська уже металась по комнате, убирая с пола и одеяло, и простыню, и мамино пальто. Она зачерпнула кружкой воды из ведра, плеснула себе в лицо. Звонкие брызги ударили в жестяный тазик.

– Лешенька, а ты не забыл, что нам вчера тетя врач сказала? – Фроська смешно прыгает, застегивая туфли. – Ага, забыл? Приходите завтра утром с одеждой – постараемся выписать вашу маму! Вот что она сказала... На, держи!

Ну и денек сегодня! Лешка мнет в руках сверток с маминой одеждой. Круглый, с гладко подобранными краями бумаги. Будто буханка хлеба. Лешка жадно глотает слюну, а та снова заполняет рот. И еще противенько, как бы напоминая о чем-то, холодно ноет в желудке. Может быть, о том, что вчера за весь день он съел только две картофелины в мундирах, крохотную дольку сала, черный сухарь да две чашки кипятка с порошком сахарина. Получалось не так уж мало. Все-таки молодчина Фроська! Где-то раздобыла столько еды. Лешка с уважением смотрит на сестру. С того дня, как они с красными от слез глазами приплелись из больницы,

оставив там маму, а потом положили на пыльную плиту этот сверток и, глядя на него, заревели, заголосили, уже никого не стыдясь, Фроська вдруг стала для Лешки совсем другим человеком. А она и действительно стала иной. И плиту сама растопит, и воду вскипятит, а надо – и картошку отварит. Лешка уже знает: если Фроська ушла – обязательно что-нибудь да притащит. Вот и вчера... Но о еде лучше не думать. Особенно, когда есть хочется...

А Фроська!.. Вот это да! Уже и подоконник помыла, и пол мокрой тряпкой вытерла. И в плиту остатки дров затолкала. Даже ту березовую чурку, на которой он вчера якорь вырезал. Ясное дело, старается, чтобы мама похвалила. Ну и пусть! Его тоже можно похвалить. Если и хныкал, когда один оставался, так только чуть-чуть, самую малость. Да и кто не захнычет, когда один в пустой комнате, в которую будто нарочно столько холода напустили, а все, что есть можно, наоборот, вынесли. И еще это пятно рыжее набухает, растет, словно к нему тянется. С такими вот крыльями и клювом выгнутым...

– Сейчас, Лешенька, сейчас... Побежим, – сама себя торопит Фроська, вытирая руки о какую-то тряпицу. Задумчиво останавливается, как бы прикидывая, что еще надо сделать. – Форточку прикрыть бы. А то маме здесь холодно будет, пожалуй, – вслух рассуждает Фроська. Но она смотрит на влажный лоснящийся пол, потом на свои туфли с засохшими комьями вчерашней грязи и не решается идти к окну.

– Ладно... Пусть поет, – неожиданно весело заключает она.

А форточка и впрямь поет, будто черный репродуктор с высокого столба на Почтовой площади именно в нее нацелен. Такая веселая музыка. Только Лешке от нее почему-то плакать хочется. С чего бы это, когда все хорошо: и война окончилась, и мама из больницы выходит, и папа приедет... От радости, что ли? Как мама? Лешка помнит: уже здесь, в Березовке, мама сидела вот на этом стуле и плакала, читая папино письмо, еще недавно красиво сложенное треугольником. Лешку тогда очень удивило, что от маминых слез письмо, написанное карандашом, становилось фиолетовым, будто оно теперь писалось заново. Только уже чернилами. Он даже не сразу догадался спросить у нее, чего она плачет. А когда спросил, мама вдруг улыбнулась, не переставая плакать, прижала Лешку к своему мокрому лицу и удивила еще больше: «Это от радости, сынок... От радости...» Может, и он сейчас так? От радости?

– Ну, побежали! – Фроська сует в его руку свою жесткую и твердую ладонь.

На крыльце она весело запрокидывает голову, отдавая ветру черные кудряшки. Но Лешка уже не смотрит на сестру. Счастливая, ликующая улица обрушивается на него торжественным голосом репродуктора, заливистым смехом, задорным всплеском гармошки. Парни с одинаково красными лицами, цепко ухватив друг друга за плечи, шумно перегородили мостовую. Рядом с ними, неловко подпрыгивая, спешил дядя Сеня. Он все норовил тоже ухватиться за плечо рыжеволосого парня, но лишь высоко вскидывал костыль, отступаясь единственной, обутой в хромовый сапог ногой. Но вот он досадливо махнул рукой, отпуская крепкотелых, уверенно барабанящих по булыжникам кирзовыми солдатскими сапогами парней, и пошел медленно, как бы поплыл, тяжело раздувая прокуренные усы.

– Бежим! – Фроська рванула Лешку за руку. Он притопнул ногой и впервые увидел отчетливо отпечатанный в податливой глине след своего ботинка. След был такой большой и глубокий, что в него тотчас невесть откуда стала просачиваться рыжая вода, образуя еще одну лужицу. Вот это да!

Фроська нетерпеливо дергает Лешку. Она несется, как ветром подхваченная. Он едва успевает за ней. И, наверное, всем кажется, что она куда-то тащит его, а он капризничает, упирается. Ему даже жарко стало от такой обидной мысли. Но ботинки, и без того тяжелючие, обросли глинистыми комьями. Не очень-то заспешешь. Лешка оглядывается. Нет, никто не смотрит на него. Вон девчата поют. Дед Онуфрий у своего крыльца деревянными ложками барабанит. А это тетка Степанида, что семечками всегда торгует. И где она только их зимой берет? Сейчас и на себя не похожа. Если б не все тот же офицерский китель на ней, не признал

бы ее. И не стоит она вовсе, а как-то виснет на заборе и гладит, гладит руками заостренный, словно пила, частокोल. Но вдруг вся сердито напряглась, подскочила к дяде Сене. Лешке на миг показалось, что ее скуластое лицо исчезло – остались только неимоверно расширенные, наполненные ужасом глаза. Дядя Сеня испуганно остановился, двумя руками опираясь на костыль, а Степанида уже кричала, задыхаясь, с трудом выталкивая слова:

– Сенечка-а... так... ты... точно... видел... там моего Степана? А? Значит, он вернется, а? Сенечка-а?!

Она просительно трогала дядю Сени за прожженный рукав кителя, застегивала и снова расстегивала на нем серебристую пуговицу у самого воротника и уже обессилено повторяла одно и то же:

– Сенечка-а! Так вернется? Сенечка?!

А он все опирался на костыль, никак не в силах выдернуть его из вязкой земли, и тяжело дышал, отдуваясь в пушистые усы:

– Будет тебе твой Степан! Будет!

Эти звонкие слова дяди Сени весело гремят уже где-то за Лешкиной спиной. Фроська, точно на буксире, тянет его сквозь переплески гармошек, радостную путаницу голосов и дребезжание радио. Теперь они бегут по вбитым в грязь доскам у самого забора, которым недавно обнесли пленные немцы развалины довоенной школы. Лешка даже глаза щурит от слепящего солнечного блеска на раскиданных недавним дождем лужицах, на влажных крышах, от бьющего красным полотнищем флага над блестящей жестяной крышей почтамта...

Но отчего так тревожно щемит сердце? И воздух какой-то жесткий стал, что ли? Даже дышать трудно. И слезы глаза щекочат... «От радости это, от радости!» – сам себя успокаивает Лешка. Под правой лопаткой у него уже давно зудит кожа. Он беспокойно дергается, но рубаха, видать, здорово прилипла к телу. Не отстает. Лешка пытается отнять у Фроськи руку, чтобы запустить ее под рубаху к лопатке. Но где там! Фроська держит железно. «Не суетись!» – совсем как мама, сердито оглядывается она.

За поворотом широко текла бугристо-серая мостовая. Да, именно текла. Почти вся залитая бурой водой по самые макушки булыжников, она так булькала, рябила округлыми серыми бугорками камней, что у Лешки даже голова кружилась. Теперь он нелепо семенил, соскальзывая с этих булыжников. Из-под ног били фонтанчики глинистой воды.

– Ну, ты, медведь косолапый! – Фроська бросила сердитый взгляд сначала на его неуклюжие ботинки, потом на свои пятнисто заляпанные чулки и снова упрямо тряхнула кудряшками: – Давай, братец, давай! Сейчас с горки спустимся, а там, за мостиком, и наша больница.

Здорово шагает Фроська. Раз – и потресканная туфелька ее подлетает к лобастому булыжнику, два – и уже отталкивается от него, едва коснувшись носочком. Раз – и снова отталкивается. И брызг никаких нет. Вот это да! Хорошо ей, длинноногой, в этих туфельках. А в таких вот кандалах не очень-то попрыгаешь. Что такое кандалы – Лешка толком не знает. Может, это деревяшки или железки какие? Но то, что они ходить мешают, это он знает точно. И его «утюги» ничуть не лучше тех самых кандалов. Не лучше? Ну и придумал! Забыл, что ли, как прыгал от радости, когда мама принесла их с базара? Тогда она сняла свои мокрые перепревшие бурки с галошами в заплатках и, сев на табурет, стала примерять правый ботинок. А он, Лешка, схватил левый. Ботинок был что надо! Жесткий, кирзовый, плотно сбитый, словно литой! С черным узорчатым каблуком! Да таким ботинком не то что тряпичный мяч – камни футболивать можно. Ткнул ногу – и она в него словно провалилась. Но пальцы уже ласкала теплой войлочной стелька. Он лихорадочно зашнуровывал ботинок, от волнения не попадая шнурком в черненькие металлические отверстия. Наконец, встал и поволок его за собой. С каждым шагом ступня в нем то двигалась вперед, пока не упиралась в носок, то отступала к жесткому кожаному заднику. Мама устало улыбалась, следя за ним, потом притянула к себе: «Нравится?» Лешка не ответил, но мама и так все поняла. Он опомниться не успел, как сидел

уже на табурете, а она горбилась перед ним на корточках и решительно рвала надвое старенькую простыню. Потом бинтовала ею Лешкину ногу, снова зашнуровывала ботинок, плотно – крест-накрест – затягивая шнурок еще красноватыми от холода пальцами. Теперь нога была словно вкована в ботинок. И с какой важностью прошагал он тогда мимо матери, трудно натягивавшей все те же перепревшие бурки, мимо онемевшей от зависти Фроськи...

Нет, ботинки эти ничего. Ботинки что надо! Пусть себе и тяжеловаты. Пусть в них и не угнаться за Фроськой. Но зато у нее вон как хлюпает в туфельках. А ему в этих «утюгах» сухо. Только Фроська как бы не чувствует своих хлюпающих туфелек. Раз – и летит к самому лобастому булжнику, два – и уже отталкивается от него, едва коснувшись носочком. Тянет и тянет за собой его, Лешку. Ему даже кажется, что отпусти он ее – и вовсе весело ускачет она от него, как кузнечик.

Кузнечиков мама всегда называла кониками. А он и впрямь думал, что если поймать кузнечика и хорошенько кормить – можно вырастить маленькую лошадку. Все свои спичечные коробки однажды заселил ими. Пробил дырочки, чтобы дышать могли – и травку им просовывал, даже крошки хлебные давал. Но они совсем и не думали превращаться в коников. И тогда Лешка рассказал обо всем маме. Как она смеялась! Фантазером назвала. Да еще почему-то папочкинским фантазером. Было это все в том же Казахстане. И никогда больше Лешка не видел ее вот такой счастливой и смеющейся.

Мысль о том, что сейчас за тем мостиком будет белостенное здание больницы и он увидит маму, заставило его увереннее заскользить по размытой глинистой тропинке. Здесь, точно в овраге, пахло устоявшейся сыростью. По обе стороны высились тоже нахохленные от сырости избы. Теперь музыка гремела где-то высоко над Лешкой – приглушенно и отдаленно.

Еще недавно здесь лежал плотно утоптаный снег. А посреди оврага, как река в берегах, светилась ледяная дорожка. Ух, и летели по ней на трехконьковых санках! Жжух-х! Жжух-х! Только снег дымился!.. И что он все думает, вспоминает? Шел бы себе и шел. Так нет – мысли всякие... Интересно, а как другие? Вот Фроська хотя бы? О чем она думает? Лешка уже совсем было собрался спросить ее об этом, но тропинка уткнулась в дощатый мостик, весь заплеванной, замусоренной шелухой семечек, окурками. Слева за ним снова бугрилась мостовая, будто прячась за огромными воротами колхозного рынка. Справа сквозь густые ветви проглядывали белые стены больницы. Черная чугунная ограда, отмытая дождями, влажно лоснилась. На выпуклой клумбе робко зеленели травинки. Они выглядывали даже из-под обломков кирпичей, окаймлявших ее.

Остренькие, хиленькие, еще не налитые настоящей зеленью... Лешке жалко стало этих травинок, виновато выглядывающих из-под кирпичей. Он ткнул кованым ботинком в кирпичину, и та нехотя отвалилась, показывая черноту земли и совсем белесые, будто седые, корешки травинок. Вот это да! Лешка хотел остановиться, но где-то за деревьями заговорило радио, а потом уже знакомая победная мелодия захлестнула еще по-весеннему редкий сквозной парк, здание больницы с нетерпеливо распахнутыми окнами, огромное, сияющее синевой небо. И, как тогда у почтамта, тревогой защемило сердце. Лешка тянется вслед за Фроськой на затоптанные ступеньки крыльца. Вот отсюда вчера они разговаривали с мамой. Она выглядывала в окно, зябко кутаясь в больничный халат. Совсем непривычная в нем. Но что это у Фроськи лицо такое? Удивленно вытянулось, обвисло. И глаза какие-то страшные стали. И руку ему жмет так, что даже кричать хочется.

– Лешенька, что случилось, Лешенька?!

Неужели это Фроськин голос? И чего она? Лешка тянется на цыпочках, чтобы заглянуть в больничную палату. Но видит только край щербатого подоконника и черную проволочную сетку кровати. Он не сразу понял, что это мамина кровать. Мамина? И пустая?! Кто-то подошел к окну в таком же, как был у мамы, халате. И еще одна женщина прилипла лицом к стеклу.

Чего они так жалостно смотрят? Лешка хочет крикнуть им обычное: «Позовите маму!» Но не может. Да что это с ним?!

– Ее, наверное, уже выписали, Лешенька. Ведь тетя врач вчера обещала. Правда же, обещала? Бежим в приемный покой!

Фроська, кажется, кричит, но Лешка еле слышит ее. Что это так звенит? И дышать трудно. Будто воздуха не хватает. Что-то белое дорогу им загородило. Ах, да! Мамин врач. Чего это она гладить их вздумала? Сняла его кепчонку с измятым обвислым козырьком и пальцы свои длинные ему в волосы запустила. Холодные такие пальцы. И дрожат они чего-то...

«Сядем, дети, вот здесь...» Да, это ее голос. А Фроська вовсю уже ревет. Сморщилась, тянет лицо к Лешкиному плечу, – спрятаться, наверное, хочет, чтобы никто не видел. «Вот так, мои детки... Не дождалась ваша мамочка этого светлого дня. В пять утра не стало ее... Все хорошо было, шло на поправку. И тут этот сердечный приступ...»

Кто это кричит? И люди... Почему столько людей в коридоре? И все белое – потолок, стены, халаты... Ничего не видно. И щекам от слез жарко. А Фроська трясет его так, что пуговицы из рубахи, как семечки, сыплются. Чего ей надо? Не стало... Как это не стало?! Умерла, что ли? Но почему? Неужели это его голос? Да что они все – сдурели?! Не может его мама оставить их вот с этими людьми, у которых даже лиц не видно! Не может...

Лешка сбрасывает со своих волос все еще холодную руку врача и, почему-то заикаясь, кричит всем этим безлицым:

– Поз-зов-вите м-маму! М-ма-му!

– Отступитесь! Чего собрались? Горя не видели? На сиротское горе не насмотрелись? Пойдемте, милые, на свежий воздух. Здесь и дышать-то нечем.

Да ведь это тетя Феня! Наконец-то, хоть одно лицо прояснилось. Дряблые щеки тети Фени мокрые от слез. И дрожит она, будто всем телом плачет.

– Идемте, милые мои, здесь и дышать нечем, – она перекладывает свою палочку в правую руку, а левой подталкивает Лешку к дверям, за которыми все также оглушительно гремит из репродуктора победный марш. Они угрюмо плетутся под эту задорную музыку к низенькой скамеечке, почти касающейся земли щербатой доской. Тетя Феня со стоном откидывает правую, негнушущую ногу и никак не может отдышаться. Словно только что долго бежала и вот присела отдохнуть. Ее пухлое тело тоже волнисто перекачивается – дышит. Она развязывает и снова завязывает узел черного с ярко-красными цветами платка. Трогает кончиком узенькие, тоже заплывшие пухлыми складками глаза, промокая их. Потом что-то ищет в глубоких карманах пальто.

– Вот-вот. Это вам. Мне только что нянечка передала, – тетя Феня разворачивает записочку, достает из нее два чуть пожелтевших кусочка сахара и читает: «Передайте детям...» Эх, сестра, сестра... Добрая и гордая душа! Все о вас думала. Все о вас... Вот возьми, Лешенька, съешь!

Он машинально, почти не чувствуя сладости, жует, хрустит сахаром, еще не зная, что всю жизнь будет жалеть, почему не сберег этот последний мамин подарок...

Прощание с мамой

Хоронили Лешкину маму дождливым днем. С самого утра окна тети Фениной избы были мокрыми. По ним текли и текли, извиваясь, дождевые струйки. А когда ударял ветер, они растягивались, сливаясь, словно смывали друг друга.

Лешка лежал на печи почти у самого разрисованного трещинами потолка. Отсюда все казалось неясным и сумрачным. Стол, заставленный какой-то посудой, стена с множеством фотографий, скамья, на которой отрешенно сидела Фроська. Ее тоже долго уговаривали залезть на печь и отогреться, но она будто не слышала. Как села, так и сидит, не шевельнется. Лешке жалко видеть сестру вот такой, он отворачивается. Прямо над ним у задымленной трубы висит вязка сухих грибов, сморщенных, точно от боли. А может, и правда им больно было, когда их в печи высушивали? В другое время он ни за что не удержался бы и отщипнул вот от этого боровика. Но сейчас не хочется. Сухо и солено во рту. А Фроська все сидит. Вон весь чулок у нее в комьях грязи. Это он вчера ее обрызгал, когда в больницу бежали. Лешка вспомнил и снова задохнулся слезами. Ведь так радостно было... А теперь? Что теперь? И говорят все почему-то тихо, о чем-то шепчутся. Вот опять тетя Феня к нему подбирается. Лешка сначала видит ее лохматые седые волосы, потом изогнутый полукруглый гребень в них. Глазки у нее напряженно раскрыты. Что-то нечасто видел раньше тетю Феню. А она, оказывается, мамина двоюродная сестра. Села на лежанку, палочку свою черную рядом с Лешкой положила.

– Ну, чего ты, чего ты, сиротка? – все тычет и тычет своим платочком ему в глаза. – Слезами, миленький, сейчас не поможешь. Вот вернется папка с войны, обживется и возьмет тебе другую мамку.

Лешку точно обожгли эти слова. Другую мамку? И еще сам не понимая, не веря в жестокую правду этих слов, закричал, обдирая ногти о теплый, шершавый кирпич печи:

– Неправда! Не будет у меня никакой мамы! Моя мама умерла!

– Умница, Лешенька, умница, – испуганно лопочет тетя Феня и шарит в длинном кармане халата, – вот на тебе пряничек.

Лешка сердито жует жесткий, как сухарь, пряник в белых подтеках сахарной пудры, давится слезами. А внизу слышен приглушенный голос дяди Сени:

– Ну чего ты хлопчику душу травмишь, а? Сходила бы лучше за подводой. Хоронить надо. Дождя этого не переждешь. Вон как шебуршит...

Тетя Феня стала шумно одеваться, а Лешка обессилено забылся – уснул, что ли? Чудилось ему, что они еще бегут по усыпанной булыжником мостовой. Он все оступается тяжелющими ботинками. А Фроська несется легко и весело. Раз – и потресканная туфелька ее подлетает к самому лобастому булыжнику. Два – и отталкивается от него, едва коснувшись носочком. А музыка гремит такая радостная, светлая, что Лешке от нее почему-то плакать хочется...

Проснулся он от Фроськиных слов:

– Вставай, Лешенька, сейчас маму на кладбище повезут. Они тут не хотели тебя будить...

А я подумала, что нельзя так... И маме обидно будет...

Фроська всхлипнула и, чтобы уж совсем не расплакаться, закусила губу. Теперь она снова сидела на скамье и следила за тем, как он неумело заталкивает ногу со скомканной портянкой в ботинок. Пуговиц на ватнике не было, и Фроська подпоясала его какой-то бечевкой. Лешка попытался выправить переломанный надвое козырек кепки, но он снова упал к глазам. Ну и пусть!

Они вышли, и толпа как-то испуганно расступилась, пропуская их к подводе с гробом. Дождинки стучались в новенькие доски. Медленно, монотонно, будто нехотя. Словно самому дождю это давно надоело, а вот остановиться не может – льет и льет... Люди насуплено сутулятся. Только дядя Сеня в крылато распахнутой плащ-палатке озабоченно суетится: то под-

скачет на своем костыле к лошади, то опять топчется около тети Фени, что-то сердито выговаривая ей. А та поправляет и поправляет черный платок, точно хочет убедиться, что он на ней. И еще лохматой бахромой этого платка глазки промокает. Постоит и опять промокнет, постоит – и опять...

– Что мне теперь с сиротками делать? – наконец слышит Лешка ее хриплый, подавленный голос. – Покойница-то, не в обиду ей будь сказано, с гордецей была: сама голодала, детей голодом морила, а зайти ко мне за картошкой не зайдет – не попросит. Зато вон как оно обернулось...

Лешка недоуменно смотрит на тетю Феню. Зачем она это говорит какой-то худюшей, длинноносой бабке, которая все кивает и кивает в такт ее словам, будто с кончика носа дождевые капли стряхивает? И Фроська тоже обиделась, вздрогнула, прячет в свои ладони Лешкину мокрую руку и жмет ее больно, как тогда на больничном крыльце.

– Не буду я жить у Фени, – шепчет она Лешке и жадно облизывает губы. Лучше в детский дом пойду.

Он еще не знает, что такое детский дом, но соглашается:

– Конечно, лучше! И я с тобой...

Лешке мокро и зябко. И еще очень жалко Фроську, которая опять прикусила губу. Жалко ему и самого себя. И уж совсем не хочется верить, что это его мама лежит под набухшими дождем досками...

– Ой-ей-ей! Утекайте быстрее, люди добрые! Фрицы топчут. Сейчас тра-та-та! И всех в яму, в яму! Козел козла забодает...

Симочка, горбатенькая, почти скрученная колесом, мечется среди людей, незаметно перебирает худенькими ножками и будто бы даже не идет, а катится, катится. Сыплет, сыплет словами. Кажется, что это вовсе не она, а кто-то другой говорит в ней – громко, визгливо. Волосы взъерошенно рассыпались почти до самых колен. И страшно поблескивают сквозь них глаза – бессмысленно пустые, невидящие. Правый, дочерна замусоленный рукав пальто почти оторван и держится только на растянутых белых нитках. Симочке холодно – она плотнее натягивает пальто, а рукав отрывается все больше и больше, показывая клоч грязно-серой ваты.

– Козел козла забодает... Козел козла забодает...

Она устала и теперь шепчет только эти слова.

– Пойдем со мной, я тебя отведу, блажененькая, – ласково успокаивает ее тетка Степанида.

Она укрывает Симочку своей плащ-палаткой, и та послушно затихает.

Симочку Лешка знает давно, может быть, даже с первого дня их возвращения в Березовку. Они с Фроськой тогда сидели под какой-то огромной грушей, на которой почему-то совсем не было груш. Но зато маленькие плотные листья были так густо сотканы, что солнце их совсем не пробивало. Лешке интересно было смотреть на Фроську, как будто одетую в дрожащую рябь этих листьев. А она смеялась от того, что и по нему, наверное, бегали, копошились их крохотные тени. И еще Лешка следил за мамой, за двумя кирпичинами, между которыми теплился огонек. А на нем уже аппетитно потрескивала каплями подсолнечного масла черная, как сажа, сковорода. Мама пекла картофельные оладьи. Одна сторона их заманчиво светилась поджаристой, коричневой корочкой. Лешка знал, что сейчас мама возьмет краем цветастого передника сковороду и опрокинет оладьи в алюминиевую миску. Он уже даже привстал, чтобы опередить Фроську. Вот тогда-то и выкатилась откуда-то из-за сарая Симочка с этими своими страшными словами: «Ой-ей-ей! Утекайте, люди добрые! Фрицы топчут!» Лешка и впрямь хотел бежать, но мама посадила девочку на опрокинутую дубовую колоду и подала ей миску с четырьмя первыми оладьями. Теми самыми, которых они с Фроськой так мучительно ждали...

Симочка, обжигаясь, стала жадно заталкивать оладьи двумя руками в свой почти беззубый рот, а мама рассказывала им, что Симочка была такой, как Фроська, когда немцы погнали

березовцев на расстрел. Она видела, что упали в яму ее мать и старший брат. А ночью пробралась к незарытой могиле. Долго сидела над трупом матери, тормошила ее, просила встать. Утром девочку нашли там совсем безумной...

Лешка слушал маму, и ему было жаль тогда худенькую, почти беззубую Симочку. Правда, и оладий тоже было жалко.

И вот теперь... Даже Симочка живет, хотя, наверное, и не понимает этого. И дядя Сеня. И Степанида. И тетя Феня. А мама лежит в мокнувшем гробу, безучастная, равнодушная ко всему. Как же так? Почему-у? Кому это понадобилось отнимать у него маму? Зачем? А может, все это совсем не так? И все это выдумали? Выдумали... Лешка дрожит. Даже зубам становится больно. Они тоже стеклянно стучат друг о друга. И шепот вокруг почему-то усиливается, и чей-то плач... Дядя Сеня подхватывает Лешку и опускает его рядом с Фроськой на телегу у гроба. Потом снимает с себя плащ-накидку и укутывает их. «Вот так, – говорит он, – вот так...» А китель его уже темнеет от капелек дождя. «Вот так», – и, ловко отталкиваясь костылем, усаживается на передке подводы. Долго перекидывает вожжи из рук в руки, будто не решаясь ехать. Наконец, хрипло командует: «Но! Но!»

Скрипят, пошатываясь, колеса, оставляя за собой глинистую колею. Тянется, не отставая, и горестный шепот, и болотный всхлип шагов. Фроська гладит угол гроба и тихо совсем плачет, плачет... А Лешка ни за что не может заплакать. Сколько раз ревел из-за всяких пустяков. А тут... Лишь дышать трудно. Но плакать не может. Как во сне, видит он нахохленные деревья парка и угол мокрого ларька. Потом чувствует, как уходят вверх передние колеса подводы, и понимает, что уже совсем близко, что въезжают они на кладбищенскую горку. И действительно, сквозь морозящий туман проступила чугунная вязь ограды, кто-то забежал вперед, забренчал железным заступом, и ворота жалостно заскрипели, пропуская их к зияющей могиле, из которой торчал только черенок забытой лопаты... Какие-то руки потянулись к гробу, но Фроська всем телом упала на него, словно защищая от этих нетерпеливых рук.

А Лешка оцепенело смотрел на огромные деревья, осыпавшие мокрый шелест, на тетю Феню, промокавшую бахромой платка глаза. Потом вздрогнул, неожиданно заметив, как опускают на веревках в могилу гроб, как дядя Сеня первый бросил в нее горсть мокрой земли... Тут же облегченно зашуршали лопаты. И так невыносимо больно сдавило всего Лешку, что он заплакал, чувствуя, что вместе со слезами уходит душливая горечь во рту, а все вокруг проступает еще отчетливее и ярче. Понял, что уже нет и не будет у него мамы, а все, что от нее осталось – вот этот бугорок земли, да валун, да фанерка, на которой дядя Сеня вывел каких-то два слова красным карандашом.

Откуда было знать Лешке, что ветер очень скоро опрокинет эту фанерную дощечку, и останется только угрюмый, в старческих морщинистых трещинах валун – каких много рассыпано по едва различимым бугоркам могил. Так что даже и его не признаешь.

Венька

– Лешенька, я кому говорю? Ле-шень-ка!

Он нехотя приоткрыл глаза, будто просыпаясь. Ну чего ей надо? Бабушка стояла у дверей и требовательно повторяла свое обычное:

– Я кому говорю, Ле-шень-ка? Что ты ночью будешь делать, ежели днем выспишься? – губы ее чуть дрогнули, не решаясь улыбнуться, и как бы невидимым ветерком погнали веселые морщинки к самым глазам. – Там к тебе Венька Вишин скребется.

Вот оно что! Но... скребется! Ох, и не любит бабка Веньку! Сейчас, наверное, предупредить начнет. И, чтобы опередить ее, Лешка деланно возмущается:

– Скребется... Что он тебе – мышшь какая-нибудь или кошка?

Бабушка на этот раз не удержала улыбки. Ресницы ее вдруг перестали моргать, высоко вскинулись – и карие, еще совсем ясные глаза, сверкнули лукавой радостью:

– Ну ты и выдумашь, Лешенька! Сам ведь знаешь, что он никогда не стучит, а именно царапается, скребется... Вот-вот, послушай. Наверное, у него терпения не хватило, пока позову – к окошку пробрался. Сейчас начнет.

И правда. Шаги за окном затаенно притихли. А затем сквозь желтоватые, выцветшие занавески послышалось Венькино царапанье. Ну и бабка! Все-то видит, подмечает! Но она не была бы, наверное, собой, если б не предупредила:

– Смотри, Лешенька, ты не очень-то с ним. Хлопчик он, может, и не плохой, но...

Она замолчала, виновато моргая, и повторила:

– Может, и не плохой, но совсем бесконтрольный. Отца нет, а мать все в поисках куска хлеба мечется. С него и спрос такой.

Лешка ждал, что она скажет уже хорошо знакомые ему слова: «Боюсь, чтобы этот Венька не втянул тебя в какую-нибудь паршивую историю». Но бабушка еще мгновение молча посто-яла, наблюдая, как Лешка заправляет одеялом постель, потрогала гребешок, торчащий в воло-сах на затылке и отступила, пропуская в комнату какой-то тусклый свет и привычные смешан-ные запахи.

Венька ждал его, сидя на обломке доски, брошенной кем-то на завалинку их дома. Доска успела так плотно впитаться в податливую весеннюю землю, что даже зазубрин на изломе вовсе не было видно. Да еще со всех сторон обрасла травинками, которые теперь на солнышке весело ежились, топорщились под шершавой Венькиной ладонью. Вот это да! Венька траву гладит. Скажи кому – не поверит.

– Ты чего царапаешься? Постучать толком не можешь. Бабка и та над тобой посмеива-ется, – Лешка сел на выступающий из-под Веньки кусок доски.

– Чего-чего? Царапаюсь? Ну ты даешь! – Венька повернул к нему веснушчатое, как бы тоже цветущее лицо и стал внимательно рассматривать свою руку, точно видел ее впервые:

– Гляди, скоро пуговицу и бляху на ремне ею драить можно будет. А все – дрова. Попро-сит кто: «Приди, малец, хоть подержись, а то одной несподручно пилу таскать». Ну, и приду. А там, будь спок! Устанешь так, что кожа с ладошки сползает...

– Ну, так уж и сползает, – оборвал его Лешка. – А вот стучаться не умеешь – царапаешься.

– Стучатся только к себе, а к чужим надо потише. К чужим надо просительно. – Венька отвернулся, шаря в бездонных карманах сотканых из заплат брюк, и неожиданно признался: – Это не я, это мама так считает. Ну а я ей верю. Она у меня, будь спок, все понимает. Ага, вот еще! Пряника хочешь? На, грызи!

Вот это да! Ну и Венька, ну и богач! Лешка вертит в руках поджаристый, посыпанный сахарной пудрой пряник. Точно такой, как тот... И снова будто удушливо пахнула жаром печь.

И снова мысленно увидел закопченный камин со связкой сушеных, сморщенных боровиков. И тетю Феню, протягивающую ему такой же пряник.

– Да ты грызи! Чего уставился на него? Он настоящий, будь спок! – Венька явно восхищен своей щедростью. – Пока тебя дозвался, я два таких слопал. Вкуснятина! Ты не смотри, что твердый. Сам во рту тает.

И правда, тает. Лешка откусывает кусочек и сосет его, будто конфету. Сладко. Зубам не терпится раскрошить, сжевать, но Лешка не спешит.

Тихо в саду. Разнежились под солнцем, притихли деревья. Только иногда качнется какая-нибудь самая нетерпеливая ветка, радостно задрожит, подставляя ласкающим лучам то тот, то этот листик. Еще недавно саду было здесь светло и просторно. А теперь деревья тянутся друг к другу, заслоня кусты смородины и уже зеленеющие бабушкины грядки.

– Ты чего хмурый? Что, фасоли жалко? Батя твой, конечно, немного того... Но, будь спок, Леха, мой бы тоже высыпал! – лицо Веньки счастливо засияло. И вдруг как-то сразу погасло. – Я тогда плелся со своим мешочком и думал: пускай бы и мой батя был жив и у меня высыпал...

Вот это да! Тащил свою фасоль и завидовал его пустой торбочке? А он считал себя самым несчастным. Ну и ну! Лешка смотрит в мечтательно прищуренные глаза конопатого друга и почти не слышит его голоса. А когда спохватывается, тот говорит уже совсем о другом.

– Нам главное сейчас – переждать. С голодухи не подохнуть. И хвороб всяких на себя не нацеплять. А потом, Леха, мы не хуже других будем. Я тоже, как ты, ершистый. Но терплю помаленьку, – Венька расплылся в откровенной улыбке. Маленький, задорно вздернутый его носик весь взялся озорными морщинками. – Мама меня правильно учит. – Голос у Веньки тоже какой-то необычный сегодня: задушевный, звонкий, будто очищенный от чего-то. – Мама говорит, что нам показывать сейчас свой характер – большая роскошь...

Лешка плохо знает Венькину маму, хотя и видел ее нередко. Тихая, всегда с услужливо-грустной улыбкой, она и летом, и зимой, казалось, одинаково зябко куталась в серый платок. И еще обычно просительно спрашивала одно и то же: «Вам ничем не надо помочь?» Так было всегда, когда Венькина мама тихо и как-то стыдливо заглядывала к его бабушке или к Щегловым.

Но говорит Венька вроде бы все правильно. Только что-то мешает Лешке согласиться с ним. Может, это слова их учительницы Нины Ивановны на последнем, грустном уроке? Тогда она призывала к осмысленности поступков. Мол, прежде чем сделать, думать надо. «И чем раньше вы это поймете, тем раньше людьми станете!» Вот как она говорила. Выходит, они с Венькой еще не люди? Но почему? Венька разве не делает сейчас все обдуманно? Еще как! Значит, уже человек. А он, Лешка, еще так себе, непонятное что-то. Здорово Венька со своей мамой придумали. Сейчас можно каким угодно быть. А потом раз – и нас таких нету! Весело получается... А как же Сенька Аршунов, Витька Шалымов и Ромка Шейн? Ведь если бы они таились, как Венька, их бы, наверное, никто толком и не пожалел, когда в одном гробу... А если бы и пожалел, – все равно не знал бы, какими они были на самом деле. Ну и Венька! Зовет с самим собой в прятки играть. Вот это да!

– Ты чего губы кривишь, Леха? Со мной не пропадешь! – Венька потягивается, отряхивает со своих разнокалиберных заплат песок. – Пряников еще хочешь? Ну, тогда айда в раймаг!

Лешка идет рядом с весело семенящим Венькой и не очень-то верит, что запросто можно заполучить в раймаге пряники. Во-первых, никаких хлебных карточек у них нет. Денег тоже... Но Венька, видно, сомнений не испытывает – заладил одно и то же: «Со мной, Леха, не пропадешь, будь спок!»

Рубаха на нем тоже в заплатах. Правда, их куда меньше, чем на брюках. Может, потому что одна, большая, чуть ли не на всю спину, заменила сразу несколько. Лешка улыбается, вспоминая, как Первого мая они собирались у школы на демонстрацию. Тогда все выхвалялись: кто – новенькой рубахой, кто – брючатами. А Венька ткнул пальцем в одну из заплат на штанах

и тоже похвастался: «А у меня новая заплатка!» Да, чего-чего, а этого добра у него и сейчас в избытке. Вон даже на кепке одна примостилась...

Около школьного подъезда Лешка увидел Борьку Сорокина и Люсечку Соловьеву. Они о чем-то говорили, весело размахивая руками, и Люськино приподнятое, будто вывихнутое, плечико странно дрожало под новым ситцевым платьем... Люська сразу же почувствовала на себе Лешкин взгляд и резко обернулась. Она что-то сказала Борьке, и тот, удивленно моргнув рыжими ресницами, уставился на него.

– В-вы к-куда? – почему-то заикаясь, спросил Борька, когда они поравнялись.

Лешка помедлил, не зная, что ответить. Но Венька опередил:

– Т-туда, – неопределенно махнул он рукой.

– К-куда э-это? – не понял Борька.

– Т-туда, – снова невозмутимо повторил Венька.

Борькины щеки удивленно обвисли, вытесняя улыбку. «Переваривает!» – удовлетворенно подумал Лешка и тронул Веньку за одну из заплат рубахи:

– Вот это да! Здорово ты его!

– Со мной не пропадешь, будь спок! – не сбавляя шага, уже в который раз повторил Венька.

«Не пропадешь, не пропадешь! Заладил, как сорока. А вот бабка считает, что с тобой обязательно в какую-нибудь паршивую историю влипнуть можно!» – Лешка уже собрался сказать ему эти слова, но худенькое лицо Веньки так весело сияло каждой веснушкой, что он не решился.

Где-то сзади запоздало тараторила Люська, а из-под стеклянных дверей аптеки выползали такие запахи, что даже во рту горчило. Лешка успел заметить сквозь стекло этих дверей тетю Феню, которая как бы повисала на своей палочке над прилавком, что-то высматривая, и поспешил свернуть за угол. Только встречи с ней ему сейчас и не хватало! Опять начнутся охи да вздохи. «Как дела, сироточка? Не обижает ли бабушка? Скоро ли женится отец? Да, была бы жива мама...» Но и спешить не хотелось. Даже наоборот: чем ближе становился раймаг, тем меньше желал Лешка в него идти. Он уже жалел, что так легко клюнул на эти пряники. Кто их там даст Веньке? Продавщица тетя Шура? Ну, нет! Она даже хлебные крошки себе в рот собирает. Лешка сам видел однажды, как она стряхнула их на ладонь, а потом в рот отправила.

Но он все-таки шел рядом с Венькой, а магазин приближался. Вот уже и крыльцо с тремя грязными ступеньками. Несколько пустых бочек из-под под селедки. Какие-то деревянные ящики, сложенные штабелями.

– Давай, Леха, не дрейфь! Прямо к прилавку – и любуйся! Главное, Шурку прикрой! – Венька возбужденно сыпал словами, подталкивая его к крыльцу.

Но ноги у Лешки вдруг стали непослушно вялыми. Щеки предательски вспыхнули. «Повернуться и уйти подальше от этого Веньки!» – мелькнула мысль. Но Лешка все же шагнул на одну ступеньку, на вторую... Тронул почему-то влажную ручку дверей. «Только постою... Посмотрю. Ничего плохого делать не буду!» – сам себя успокоил Лешка и облегченно вздохнул, услышав знакомый голос Степаниды:

– Шурочка, думаешь, ему нет резона мне лгать?

– Да какой ему резон?! Бог с тобой, Степанида! Семен – мужик совестливый.

Голос у продавщицы грудной, задушевный. Что-то Лешка не замечал этого раньше, когда она покрикивала на них, пацанов, норовивших пролезть за хлебом без очереди...

Двери под его рукой пронзительно скрипнули, точно предупреждая, и он вошел, чувствуя, как вслед за ним бесшумно проскользнул и где-то притаился Венька.

– Мальчик, а мальчик! – тотчас окликнула Лешку тетя Шура, и голос ее был уже тот самый, которым она покрикивала на них в хлебных очередях.

Лешка вздрогнул, готовый ринуться к спасительно распахнутым дверям, но сквозь назойливый звон в ушах до него донеслось:

– Двери, наверное, закрывать нужно! Как думаешь, а?

– Да какой же это мальчик! Ты что – не ведаешь этого хлопчика? То ж Лешка Колосов! – всплеснула пухлыми руками тетка Степанида и позвала: – Поди ко мне, дитятка! – ее скуластое лицо сочувственно вытянулось, и Лешка почему-то подумал, что она тоже вспомнила сейчас тот дождливый день похорон мамы.

А тетка Степанида уже вытаскивала из кармана горсть тыквенных семечек:

– На, грызи, Лешенька!

Новый фицерский китель на Степаниде ярко сиял пуговицами. И откуда у нее столько военной одежды? То в полушубке ходит, то плащ-накидкой укроется. На семечки она эту одежду выменивает, что ли?

Лешка высыпает семечки в карман, а они шелушатся, проскальзывают сквозь пальцы. Вот это да! Ну и Степанида! Лешка таких семечек, считай, с осени и в глаза не видел... А о нем вроде уже и забыли совсем. Вот Степанида опять отвернулась к весам, ласково трогает тетю Шуру за пухлую руку.

– Так, говоришь, нет ему резона? Вот и я думаю... Сам ведь рассказывал, что видел моего Степана перед отправкой в госпиталь. Давеча пообещал: «Будет тебе твой Степан, обязательно будет...» Ох, Шурочка! Пускай без ноги, без руки – только бы вернулся...

Полки, на которых обычно лежал хлеб, пустые. Только дочерна затоптанный пол напоминает о недавней очереди. Да еще сытный хлебный запах... Какие-то бутылки, баночки стеклянные, миска с золотистой хамсой. Большущий кусок маргарина возвышался даже над весами. А в углу жестяной бочонок с яблочным джемом. Ну и вкуснятина! Дали бы хоть ложку облизать, которая торчит в нем. И как это тетя Шура спокойно стоит за прилавком, когда вокруг столько всякой еды?! А пряники?

Лешка только теперь заметил: целый мешок пряников, кругленьких и плотных, как шляпки боровиков, стоял у ног тети Шуры. Вот это да! Лешка вдруг вспомнил о Веньке, который притаился где-то за штабелями ящиков, и снова лицу стало жарко, а ноги будто к полу приросли – тронуться боязно.

– Чего тебе, мальчик? Еще не высмотрел? – допытывается тетя Шура и почему-то вытирает руки о край халата. – Давай быстрее, а то я на обед закрываю.

– Мне... мне ничего, – спохватился Лешка и еще более сдавленным голосом солгал, – это бабушка просила узнать, есть ли соль.

– Так бы и сказал. А то стоит, глазеет... Была бы, милый, соль – была бы и очередь. А так ни очереди, ни соли, – тетя Шура тихо засмеялась, довольная своим ответом, и стала развязывать за спиной тесемки халата.

Лешка, с трудом передвигая почти негнувшиеся ноги, пошел к дверям. Он приоткрыл их – и прямо перед ним кубарем скатился с крыльца Венька. Кепка на нем была почему-то сдвинута козырьком к затылку. Он, так и не разгибаясь, промчался у стен магазина. Не ожидая, нырнул за угол аптеки.

Лешка испуганно остановился. Нет, никто не гнался за ним. На мостовую выкатилась из переулка подвода с ящиками пустых бутылок. Окованные железными обручами колеса звонко забарабанили по булыжникам, а в ответ, точно переключаясь, забренчали бутылки. Но вот бородатый возница сердито взмахнул кнутом – лошадь обиженно вскинула голову, рванулась и увлекла за собой дребезжащую телегу. Стало совсем тихо, и от этого особенно слышно звяканье засовок. Тетя Шура замыкала магазин.

Веньку он догнал у аптеки. Тот, как ни в чем не бывало, стоял, прислонившись к стене, засунув руки в оттопыренные карманы.

– Ну ты и даешь, Леха! Продержал меня там, за ящиками. Ты что – раньше уйти не мог? Или думал, что я весь мешок в карманы перегрузить должен? Потом вовсе отстал. Я уж чуть не поверил, что тебя сцапали.

Венька презрительно сплюнул сквозь зубы и лихо сдвинул козырек кепки к глазам, вовсе заслоня узенькую полоску лба.

Теперь все в нем раздражало Лешку: и то, как стоял, прислонившись к стене, небрежно заложив ногу за ногу, и то, как толкнул к озорным глазам козырек. Но, пожалуй, больше всего голос – властный, прикрикивающий. И чего это он? Никогда раньше Венька с ним так не разговаривал. Тоже командир нашелся! Набил карманы пряниками и решил, что теперь Лешка для него как шелковый. Вот это да! Двинуть ему разок, что ли, чтобы опомнился?

Он почувствовал, что правая рука сама по себе сжалась в кулак и потяжелела, наливаясь силой. Голова наполнилась звоном, как тогда, когда он схватил в школьном подъезде Серегу Шивцева.

– Леха, ты что, Леха! – Венька почувствовал неладное, и всю его независимость будто ветром сдуло. – Кто же тогда дружить станет, если мы с тобой драться будем?

Худенький, в цветастой от заплат рубахе, он суетился вокруг Лешки, точно уклоняясь от ударов.

– Леха, ты что, Леха!

Но Лешка еще и сам не знал, что это бунтовала в нем, требовала выхода ослепляющая месть за недавние минуты унижительного страха, которые Венька заставил его испытать там, в магазине.

– Я ведь по-доброму, Леха, будь спок!

Слова Веньки звучали глухо и отдаленно, но это его «будь спок» как бы напомнило о прежнем, когда Лешка, неделями не встречаясь с ним, отлично знал, помнил, что есть у него преданный бессловесный друг Венька Вишин. Он разжал онемевшие в кулаке пальцы и медленно пошел, мучительно соображая, чего же так испугался Венька. Драки? Ну нет! Он подминал под себя пацанов покрепче его, Лешки. Того же длиннорукого Кольку Свирина – попрошайку, который нисколько не обижался на это свое прозвище, продолжая просить у кого семечек, у кого хлеба, у кого списать домашнее задание.

Однажды попросил что-то у Веньки, а тот прищурился и отчетливо, будто каждое слово уже было оплеухой, произнес:

– Могу дать... по морде!

И дал! А Колька тогда только воздух месил своими длиннющими руками, никак не попадая в юркого Веньку... Чего же он испугался сейчас? Нет, конечно, не драки. Лешка сдерживает шаги и уже рядом с собой слышит виноватый голос Веньки:

– Глянь, Леха, а они все еще стоят!

Но он уже сам видел их – и Борьку Сорокина, и Люську Соловьеву. Чего бы это они? Стоят у школьного подъезда, будто тетя Нюра их и сейчас не пускает. По школе уже соскучились, что ли? Вот это да! Борька снова удивленно заморгал ресницами, а Люська дернула своей выпуклой лопаткой и, повернувшись к нему, умиленно произнесла:

– А теперь ты куда, Леша?

Он чуть не поперхнулся этой ее любезностью. Но Венька был невозмутим:

– Туда, – снова ответил он, неопределенно махнув рукой.

Лешке оставалось только важно кивнуть в знак подтверждения. Они пошли, долго чувствуя на своих спинах недоуменные взгляды. А когда свернули за угол к почтамту, весело посмотрели друг на друга и рассмеялись, и этот неожиданный смех был примирительным...

Гулко хлопали массивные двери почтамта. На столбе празднично гремел черный репродуктор. Дымилась под солнцем еще влажная дорога. И воздух сиял такой яркой прощальной голубизной, которая бывает, наверное, перед самым закатом. Лешка неожиданно подумал, что

сегодня – какой-то вместительный день. Бывает, живешь себе и вроде дней не замечаешь. А этот... Как прожектор какой. Столько неясного высветил. Лешка шлепает сандалиями по тротуару и чувствует себя сейчас очень богатым человеком. Ведь у него в запасе еще столько дней, пока станет таким, как дядя Сеня или дед Онуфрий, который здорово подыгрывает на деревянных ложках. Он зачерпнул в кармане шелушащихся семечек и протянул Веньке:

– А что, живем, конопатый!

– Живем, будь спок! – охотно откликнулся Венька и, достав пряник, жадно впился в него зубами. – Ты там, Леха, оказывается, времени не терял. Семечки раздобыл. На, жуй!

Теперь они сидят на разогретом солнцем бревне. Лешка, будто камешками, стучит пряниками, и в ладонь ему осыпается сахаристая пудра.

– Вот этот надо Фроське занюхать! – вслух думает Лешка и заталкивает пряник в карман, окуная его в скользкие семечки.

– Конечно, надо! Была бы у меня сеструха, я бы ей, будь спок, пряников не пожалел! – Венька перестает жевать, и серые, почти бесцветные глаза его смотрят куда-то поверх трухлявой крыши сарая.

Лешка видит, как ветер пробегает по этой крыше, поднимая дощатую труху, и крутит ее, словно ввинчивая в небо. А здесь, у ребристой стены, ничто не поколеблет устоявшихся запахов прели и разогретого солнцем дерева... Венька жует пряники так, что нос ходуном ходит. И еще рассказывать ухитряется:

– Залег я там между ящиками. Прислонился спиной к мешку с пряниками. А другой мешок боком своим прямо надо мной повис. Ну, и дырочка в нем – та, что я еще утром заметил, когда в магазине очередь за хлебом топталась. Набил карманы. Надо сматываться, а ты двери не раскрываешь. Ну, думаю, влип!

Лешке почему-то неприятно слушать Венькин рассказ. Нехорошо все это, нехорошо... Вон тетя Шура, считай, хозяйка всего магазина, а даже ложку, что в бочонке яблочного джема торчит, и то не облизнет. Хлебные крошки только соберет на ладошку – и в рот. А они? Да и пряники эти какие-то деревянные – жуешь, а вкуса почти никакого. Вот первый, которым его Венька угостил, совсем сладкий был. Чуть-чуть откусывал и сосал, словно конфету. А эти... Но Венька жует их, будь здоров! Задорно вздернутый носик так и бегаёт, так и бегаёт на его конопатом лице...

– Ну и силен ты пожрать, Венька! – с еще неясной обидой говорит Лешка.

– Ага, силен, будь спок! – пытается улыбнуться Венька, не раскрывая набитого пряником рта. – Нам сейчас хорошо есть надо, чтобы, когда вырастем, не болеть. Мама считает, что потом много больных будет. В голодуху живем.

– Ты-то не очень!.. – Лешка осекся, не зная, как лучше сказать. – Ты приспособился.

– Ага, будь спок, – наконец может улыбнуться Венька. – Я ведь на нашей улице почти в каждом богатом доме обедаю. По очереди. Ну, а за это кому одно спасибо, кому дрова попилить помогу, кому воды притараню. Иногда так наобедаюсь, что пузо, как горшок полностью, еле несусь...

Венька снова вонзил зубы в пряник и замолчал. Правда, ненадолго:

– Слушай, Леха! А хочешь, я и тебе эти обеды устрою. Поговорю с тетей Феней. Она ведь вам еще родичка. Враз все уладит. Ну, Леха?

– А, вот вы где! Голоса слышу вроде знакомые, – Толик Щеглов осторожно опустил на землю две ореховые удочки и чуть приоткрытую консервную банку с черной землей, в которой густо копошились дождевые черви. – Я на вечерний клев собрался. Вот и удочку твою захватил. Пойдешь? – Толик зачем-то расстегнул замок вельветовой футболки и громко принялся: – Ого, тут у вас вкуснятиной пахнет!

Лешка вместо ответа протянул ему горсть белых семечек.

– Вот это улов! Не иначе тетку Степаниду обобрали, – Толик сжал двумя пальцами семечко, и оно хрустнуло.

– Сама угостила, – не удержал Лешка улыбки.

– Да ну?! – недоверчиво переспросил Толик и заговорщицки подмигнул Веньке. – Знаем мы эти угощения. – Пошли, Леша, а то клев прозеваем.

Они уже сворачивали за сарай, когда Венька окликнул его:

– Так я завтра все устрою. Слышь, Леха!

– Валяй, валяй, – буркнул Лешка и споткнулся о какую-то железную скобу. Он нагнулся, опасливо потрогал подошву сандалии. Кажется, выдержала.

– О чем это он? Что он тебе устроить хочет? – поинтересовался Толик, когда они вышли на извилистую тропинку.

– Да так... Ерунда, – Лешка опустил голову, чувствуя, что краснеет. А вдогонку им еще летел веселый Венькин крик:

– Я сделаю-ю! Со мной не пропадешь, Ле-е-ха-а! Будь спо-ок!

Лешка принимает решение

– Ну, Леха, будешь и ты сыт, – Венька стоит, едва не по самые локти засунув руки, наверное, в бездонные карманы, будто хочет отыскать в них вчерашние пряники. Потом он недоверчиво вглядывается в лежащее посреди дождевой лужи бревно, принаравливаясь присесть, и не решается. – Смотри, как размокло, – вслух удивляется он, – а вчера здесь ничего себе было: и сухо, и солнышко, и пряники.

Венька привычно сыплет словами, а сам сдирает набухшую влагой кору.

– Вот уже почти сухо. Садись, Леха, я тебя учить буду, – Венька, видно, с утра настроился на покровительственный лад, но Лешка почему-то не чувствует на него вчерашней злости. И молча садится, неловко поджимая ноги.

Сколько помнит он Веньку – тот всегда был таким же. Другие менялись – толстели, худели, хромели, темнели, рыжели... А Венька оставался прежним – низеньким, юрким. Все так же цвело веснушками его светлое лицо, на котором беспокойно как-то сами по себе жили всегда готовые прицелиться хитроватым, понимающим взглядом серые, почти бесцветные глаза. Да, он никогда не менялся. Разве только заплат на нем становилось больше. И еще одно никогда не менялось. О чем бы ни говорил Венька, он всегда упоминал о еде. Вот и теперь.

– Ну, Леха, будешь и ты сыт, – уже в который раз повторяет он. – Значит, так. Сегодня в час дня идешь в сороковой дом, а я топаю в тридцать пятый. Главное, Леха, не робей. Зашел себе, скромненько поздоровался – и за стол. Начнут что выпытывать – тоже не робей. Скажи им, как меня мама учила: мол, не забуду вашей доброты и когда вырасту... А после «спасибо» – и все труды!

Венька, что-то вспоминая, неожиданно грустно прицеливается взглядом куда-то поверх сарая, и голос его на мгновение теряет поучающую уверенность:

– Ну, сначала стыдно будет, а потом обвыкнешь. Мама правильно говорит: стыд не дым – глаза не выест... Будь спок!

Лешка пытается уследить за Венькиным взглядом и тоже рассматривает крышу сарая. Еще вчера ветер золотистым вихрем ввинчивал в небо труху, а сегодня крыша лишь чуть-чуть дымится, подставляя солнцу черные расплывчато-влажные пятна. И земля дышит. Вьются над ней белесые клубы пара и, раскачиваясь, незаметно исчезают, растворяются в сияющей голубизне утра. Вот это да! Лешка удивленно рассматривает землю: темно-серую, усыпанную золотистыми щепками, густо истоптанную коровьими копытами.

Венька вдруг весело швыряет прутик на крышу сарая, и тот замирает на самой крутизне. Всего лишь на мгновение, а потом соскальзывает снова к его ногам. Ну и фокусник!

– А еще! – просит Лешка.

И Венька, скрывая самодовольную улыбку, небрежно подкидывает гибко изогнутый прут. Теперь он лежит на крыше чуть дольше, словно не решаясь падать, но все-таки послушно летит к самой кромке лужи.

– Бог троицу любит, – повторяет Лешка где-то слышанные слова.

И Венька швыряет в третий раз. Может быть, чуть-чуть сильнее. Прутик перелетает дощатую вершину крыши и, уже невидимый, падает по ту сторону сарая.

– Не любит, – громко вздыхает Венька.

– Кто не любит?

– Ну, этот... Бог... троицы, – Венька смеется, а Лешка поспорить готов, что он здорово огорчен тем, что не удалось удачно забросить прут в третий раз.

– Чтой-то жрать хочется, – уже совсем иначе вздыхает Венька. – Не люблю, когда жрать хочется. Ни о чем другом думать нельзя. Скорей бы обед! Ну и наедемся мы с тобой, Леха...

Слышь, а тетя Феня, когда я ей о тебе сказал, так обрадовалась, что даже палочку свою уронила. Пришлось поднимать, – неожиданно вспомнил Венька.

– И что она тебе сказала? – нехотя поинтересовался Лешка.

– Это хорошо, говорит, что он не в мамочку свою пошел, что о себе подумал. Ну, и всякие другие слова... Но главное, обтяпала все быстро. Утром сказал ей, а в обед – топай, Леха, в гости! За бульбочкой с мясом или за картофельными оладьями с салом...

Но, увидев, что Лешка все так же молча сидит, не шелохнувшись, удивленно спросил:

– И чего ты ерепенишься? Тебе хотят как лучше, а ты...

– «Лучше, лучше», – передразнил его Лешка.

Нет, на Веньку он не мог долго сердиться. На Серегу Шивцева мог, на Борьку Сорокина тоже. Даже на маменькиного сынка Фимку Видова. Но не на Веньку. И в самом деле, чего он ерепенился? Жрать хочется так, что даже живот судорогой сводит. Тот кусочек жареного леща, который он проглотил утром с долькой хлеба, только сильнее напомнил о голоде. Думать ни о чем нельзя. Все жратва в глазах мерещится. Всякие там куски мяса с тушеной картошкой да оладьи, плавающие в жиру среди шкварок сала... Вот Венька и хочет ему все это подарить. Не надо будет притворяться сытым в душевной, укутанной коврами и скользкими шелковыми занавесками Фимкиной комнате, стыдливо ожидая, когда Раиса Семеновна, по-вороньи картавя, произнесет: «Вот видишь, догогой, Лешка голодный, а учится на пятежки». А, убирая со стола всякие там блюдечки и мисочки, точно ошпарит словами: «И на здоговье, Фимочка! Если не учиться – так хоть есть он тебя, может, научит...» Нет, уж лучше, как Венька. Все ясно. Они знают, зачем пришел. И он тоже знает. Никакого притворства. Ходят же люди в столовую. И не спрашивают их там – зачем пришли. Правда, там кормят за деньги, а у него никаких денег нет. Ну и что?! Вырастет и отдаст. Рассчитается. Привезет целый грузовик подарков и будет их развозить. «Это вам! Помните, вы меня пшенной кашей с салом кормили? А вам за мясо тушеное, за оладьи картофельные!» Вот это да! Ну и веселое будет время! И тете Фене какой-нибудь самый хороший подарок. Небось, удивится так, что снова свою палочку уронит.

Что-то смутное и ярко-радостное, как просветленные солнцем облака, всплывает в самом Лешке. И видит он себя высоким, крепкотелым, в кожаной, на «молниях» куртке, в новеньких черных брюках, заправленных в небрежно сдвинутые голенища хромовых сапог. И подарки в коробочках, перевязанных разноцветными ленточками, видит. Нет, за ним ничего не пропадет. Пусть не боятся!

Лешка взволнованно пригладил иссиня-черные кудряшки, потрогал рубаху, перешитую недавно из отцовской гимнастерки, глянул на покореженные сандалии... Нет, ни кожаной куртки, ни черных брюк, ни хромовых сапог на нем пока не было. Но это пока. Теперь Лешка был убежден, что будут. Обязательно! И машина с подарками тоже будет! Важно только очень этого захотеть. А он хочет. Да еще как! Вот только бы тетку Степаниду не забыть. Здорово она его тогда в магазине семечками одарила!

Лешка весело глянул на обиженно нахохленного Веньку.

– Значит, я иду в сороковой, а ты – в тридцать пятый? Отлично! – и весело предложил: – А может, махнем? Где лучше кормят?

Венька точно отряхнулся от чего-то наседавшего на него, выпрямился и, все еще не веря Лешке, начал радостно сыпать словами:

– Давно бы так. А то тебя не поймешь – хочешь ты жрать или нет... Кормят везде хорошо. В голодный дом нас, Леха, не пошлют. Будь спок!

Даже веснушки на Венькином лице засияли. А глаза держат прицельным взглядом, не отпускают от себя Лешкино лицо. «Ага, и ты такой же – ничем не лучше меня. Согласился. И чего только выпендривался зря? Ничего, голод не тетка. Будешь и ты, как я, по хатам ходить. Будь спок!» – читает Лешка в этом Венькином взгляде. Сказать ему или не говорить о кожаной куртке, черных брюках, сапогах да машине с подарками? Нет, не стоит! А то сам тоже захочет.

Куда им две машины с подарками?! Многовато. Да и трудно Лешке представить Веньку не в этих заплатах, а в одежде, которую для себя наметил... В сороковой дом он пойдет. Теперь уже точно. Будет брать в долг. А там со всеми рассчитается. Пусть только не важничают. За ним не пропадет.

Наконец-то Венька отводит свой ликующий взгляд от Лешкиного лица. Наверное, не меньше торжествовала и тетя Феня. Что там плела Веньке? Похвалила его, Лешку. «Не в мамочку пошел...» И чего она все к маме вяжется? Лешка хмурится, снова мысленно вглядываясь в тот перечеркнутый дождем горестный день. Видит притихшую толпу, которая как-то испуганно расступилась, пропуская их с Фроськой к подводе с гробом... И опять как бы слышит сердитый шепот Фроськи: «Не буду я жить у Фени! Лучше в детский дом пойду!»

Вот это да! Не успел про Фроську подумать, а она тут как тут! Стоит себе в коротком цветастом сарафанчике, надетом поверх бабкиной батистовой кофточки. Сдувает кудряшки со своего хитрющего лица и еще улыбкой их с Венькой одаривает. Ну и нарядилась! Лешка уже собрался крикнуть ей: «Воображала – первый сорт...» – но Фроська опередила его:

– Ну что, старички? На солнышко выбрались? А я воду таскаю. Бабка опять стирку затеяла. Так что приказано откомандировать Алексея Колосова в мое распоряжение!

«Вот и Фроська! Что в ней осталось от той, которую только что вспоминал? – растерянно думает Лешка. – Сияет! Все забыла, наверное. И лицо будто отмылось от угрюмости. И глаза смеются. Может, и впрямь та долговязая девчонка в протертом пальтишке, в чулках, которые он ей тогда здорово заляпал грязью, была вовсе не Фроська? Изменилась! Постой, может, и он... так изменился? Только не замечает этого?» Лешка даже вздрогнул от этой неожиданной мысли.

– Лешень-ка-а! Я кому говорю, Лешень-ка-а! – изо всех сил копирует Фроська бабушкин голос и требовательно ведром позванивает.

Надо идти. Не отвяжется.

– Я пошел, – оборачивается Лешка к Веньке, словно тот сам не видит, что он уходит.

Поднимается и Венька, но медлит, что-то обдумывая. Мнет в руках кепку. Потом, то ли позевывая, то ли вздыхая, растягивает слова:

– Что-то есть хо-о-чет-ся-я!

А может, это он так намекает ему, чтобы не забыл сороковой дом? Ну и ладно! Другая мысль теперь не дает Лешке покоя. Раньше он думал, что меняется, и то незаметно, лишь все вокруг него. Но вот и Фроська совсем не та. Значит, и он меняется? Но как?

Лешка бороздит корявым носком сандалии песчаную тропинку. Но пыли совсем нет. Песок еще не просох, не отогрелся на весеннем солнышке. Да и поливают его. Каждый, кто воду несет, обязательно сколько-нибудь да расплещет.

– Ты там не буксуешь? – Фроська оглядывается и как будто передразнивает бабушку: – Лешенька, я кому говорю? Ле-шень-ка! Ты там не забуксовал в песочке?

Она хохочет, беззаботно машет руками, так, что рукава батистовой кофточки пышно полнятся ветром. Кажется, что вовсе и не несет зеленоватое ведро, а жонглирует им. Взмах – и оно взлетает над самой головой, два – и стремительно падает, показывая черное, давно потерявшее краску доннышко... Фроська не идет, а приплясывает.

– Фрось, – наконец, решается Лешка, – здорово ты изменилась! А я изменился?

Ведро, словно передумав летать, почти волочится над самой тропинкой. Но Фроська еще не может остановить ни себя, ни своего веселья. И сражает Лешку наповал:

– И ты изменился... Вон как уши обвисли... Точно лопухи!

Да, с ней не поговоришь. А приплясывать перестала, напряглась. Ждет, что он ответит, чтобы потом поспорить уже всласть. Но Лешке спорить не хочется. И он молчит. Фроська совсем теряется от этого его молчания.

– Растем мы, Леша, растем, – наконец слышит он совсем другой – рассудительный – голос сестры. И кажется ему, что прилетел этот голос откуда-то издалека, из того времени, когда они жили вдвоем в холодной комнате, на стенах которой угрожающе расплзались, будто пытались дотянуться к нему, причудливые влажные пятна.

Но Фроську снова захлестнуло веселое настроение, и она заторопилась танцующей походкой, забренчала летающим ведром:

– И э-то да-аже о-очень хо-ро-шо! И э-это да-аже о-очень хо-ро-шо! – распевает Фроська.

Лешка уже не смотрит на нее. Значит, все верно. Он думал, что изменится только потом, когда станет таким, как отец, как дядя Сеня. Оказывается, меняется и теперь. Может быть, каждый день, незаметно. И кто-нибудь вдруг обнаружит в нем это, как он во Фроське.

Тропинка скромно прижалась почти к самому забору, и они идут, окунаясь в ласковую, рябющую тень сада. Где-то здесь должен быть тот самый сороковой дом. Может, вот этот? Окна и двери его украшены, словно деревянными кружевами, золотистыми наличниками. Лешка торопливо отводит глаза. Ему почему-то кажется, что Фроська сейчас обо всем догадается.

А вот и серое пятно бетонированной площадки, и черная чугунная труба колонки над ней. На конце трубы бугрится крючковатый выступ. Фроська подцепила на него ведро, а Лешка нехотя взял в руки короткий, отшлифованный ладонями рычаг. Качнул раз, второй – ни капли не показалось. Только где-то в глубине колодца сухо перекатывался металлический лязг и почти неуловимым эхом слышалось далекое бульканье воды. На пятом качке Лешка почувствовал, как по спине покатались капельки пота. Стало жарко... А Фроська? Вот это да! Стоит себе и глазеет на шелковые занавески в окнах Фимкиного дома. Всем своим независимым видом как бы хочет ему сказать: «А ну, поспытай, братец, чего стоило мне одной и качать, и таскать воду!» А в трубе сухо. Это всегда так бывает, если долго воду не брали. Пока раскочаешь... Хорошо бы передохнуть, а то левую руку свело. Но об этом и думать нельзя. Передохнешь – все начинай сначала: вода опять убежит в колодец. А так уже скоро. Лязга почти не слышно, бульканье перешло в солидный переплеск. Он все ближе, ближе... Ага! Наконец-то! Тугая струя, разлетаясь брызгами, ударила по дну ведра. Теперь главное – качать, качать! Лешка всем телом тянет вверх ускользящий рычаг, а потом тоже всем телом падает, гнется вслед за ним к земле. Но зато вода прет вовсю! Даже захлебывается ею труба. Теперь и Фроська не прочь уцепиться за рычаг. «Подвинься!» – просит. Нет уж, поздно. Смотри себе на Фимкины занавесочки. Любуйся! «Давай помогу», – сквозь назойливый гул в ушах слышит он, но заставляет себя улыбнуться:

– Без соп-ли-вых обой-дем-ся!

Фроська мстительно вздрагивает от Лешкиных слов. А потом сама визгливо кричит ему:

– Да хватит качать, дурак полоумный! Вода переливается!

И вправду переливается с полнехонького ведра. Течет по бетонному желобку в пыльный кювет мостовой. Лешка отпускает рычаг, но вода все бежит и бежит – никак остановиться не может. А ведь сколько впустую качал! И вот сама льется. Может, так не только вода? Очень хочешь чего-то, стараешься. А потом уже не очень и хочешь, но оно само является... Лешка, тут же забыв обо всем, решает поделиться этой неожиданной мыслью с Фроськой, но та и не смотрит на него. Только выразительно за левую сторону ручки ведра держится. Хорошо, что хоть за левую ухватила. Правая рука у него еще ничего, правда, тяжелая какая-то сделалась... Ну и пусть, если ей неинтересно, то и рассказывать не стоит.

Лешка берется за ручку ведра, и они совсем легко снимают его с выступа трубы. Фроська и не собирается опускать ведро на землю. Не устала, небось, наблюдая за Фимкиными занавесочками. Но ничего, нести не качать. Это проще. Особенно вдвоем. Но чего ведро вдруг так плеснуло? Фроська отскакивает, точно ужаленная.

– Ну ты, умник, не брызгайся!

Край Фроськиного сарафана мокро темнеет. Лешка напрягает руку, стараясь выровнять ведро, но вода в нем не унимается, словно ветер по ней рябь гонит. И Фроська уже боится – вон как руку оттопырила. Теперь холодный выплеск настигает его. Лешка вздрагивает, дергая ведро, и вода снова обдаёт Фроську.

– Ну все! С меня хватит! Пусти, я сама! – пищит она.

Ей, конечно, жалко сарафана. Но Лешка и не думал обливать. Да и воду расплескали. Хоть возвращайся опять к колонке.

– Пусти, я сама понесу! – уже кричит Фроська.

Ясное дело – хочет перед бабушкой покрасоваться. То, как она одна ведро притащит, бабушка, конечно, увидит, а то, как он один качал, и знать не узнает. Ну и хитрая сестра!

– Пусти! – требовательно тянет Фроська ведро в свою сторону, а Лешка – в свою. Они уже и не идут вовсе, а топчутся на мокрой тропинке.

– На, бери! – первой не выдерживает Фроська. – Тащи сам, если тебе хочется...

Он едва удержал ведро, вода в котором так и рванулась через край. Хорошо, что хоть успел левой рукой подхватить, а то бы вся на песке была. Теперь и отдохнуть можно...

По мостовой мчалась трехтонка. Лешка заметил в кабине за приопущенным стеклом дядю Колю в обычной кожаной куртке. Отца рядом с ним, кажется, не было. Выбитая колесами пыль все еще бежала за грузовиком, а когда улеглась, Лешка обнаружил, что Фроськи и не видно вовсе. Вот это да! Ну и сеструха! Пускай бы сама тащила. И чего он, дурак, заупрямился? Так и на званый обед опоздать можно...

А Фроськи не видно. Ни за тем забором с зияющим пустотой проломом, ни за кирпичной стеной Фимкиного дома. А еще топать и топать. Лешка нехотя берет ведро за деревянную ручку. Одному, конечно, тяжелее. Но мешает ему идти не тяжесть, а обида на Фроську. Сбежала! Небось, играет где-то в классики да еще посмеивается над ним. И Лешка так явственно представил Фроську, скачущую на расчерченном мелом тротуаре, что больше и шага ступить не мог. Пусть это ведро здесь остается! Ей не нужно, а ему тем более!

И тут кто-то будто толкнул или окликнул Лешку, заставив оглянуться вокруг. Но никого. Напрасно он ощупывал взглядом шелушащиеся кирпичной пылью стены Фимкиного дома, у подъезда которого стояла тачка с рыжим проржавленным колесом. Напрасно пытался заглянуть за ветхий забор с темным от яблоневых стволов проемом... Правда, на мгновение ему показалось, что в этом проеме кто-то испуганно отпрянул, когда он обернулся. Фроська? Ну, тогда посмотрим, кто первый не выдержит. Лешка оставил ведро и сбежал с косогора.

Еще недавно здесь, наверное, журчал ручей, а теперь от него остался только устоявшийся запах сырости да надежно утонувшие в засохшей грязи валуны. Лешка выбрал валун покрупнее и сел. Отсюда хорошо просматривалось голубоватое ведро с так и не опущенной, торчащей ручкой. И до чего тихо! Лишь где-то в бездонной синеве, совсем невидимый, захлебывался песней жаворонок. Когда-то Лешка видел его, маленького, чуть больше воробья, и удивительно похожего на этого птичьего забияку – такого же землисто-серого, только у самого горлышка и на груди украшенного густо рассыпанными темными пятнышками. А сейчас и не разглядеть. Вон там, кажется, барахтается, купается в облаках серый комочек. Но голосок и здесь звучит. Гулко, требовательно, задорно...

Лешка спохватился, услышав рядом на тропинке глухие, шаркающие шаги. Вначале он увидел темную, с широкими оборками юбку, прикрытую еще более темным пятном передника, а потом уже бахромчатый серый платок и восковое, морщинистое лицо старушки. Вот она заметила ведро, заслонилась от солнца ладонью и подслеповато по сторонам посматривает. Вот это да! Небось, думает, что ведро само воды набрало и по щучьему велению домой топает. А если захочет прихватить с собой это сказочное ведерко? Вон как нацелилась! И, опережая события, Лешка выразительно кашляет:

– Кхе! Кхе! – А потом на всякий случай и в третий раз повторяет еще громче: – Кхе-е!

Кто ее знает, эту старушку, может, она чуток глуховата? Но нет, слышит, видать, что надо! Вздрогнула вся – испуганно опустила руку и так зашуршала по песку, что даже пыль поднялась.

Лешка нехотя взбирается по косогору. Стоит ли приманивать прохожих своим ведром? Да и время не ждет. Может, в том сороковом доме уже за обедом косточки мясные обглаживают? Ждать его там будут, что ли? Лешка торопится – топчет поросший ершистой травой косогор. Ну и лопух же он! Сидел бы себе сейчас за столом... А здесь, наверху, оказывается, и ветерок есть. Вовремя он, однако, вылез из своего укрытия. Вон сразу несколько человек с пустыми ведрами к колодцу спешат. А это кто? Ну конечно, Фроська! Несется к нему со всех ног. Даже кудряшки на голове подпрыгивают.

– Ой, напугала меня та бабка! Упрет, думаю, наше ведро! – Фроська хохочет, нетерпеливо притопывая ногами. – Леш, а как бабка на ведро смотрела... Глазам своим не верила... Не могу! – снова заходится смехом Фроська и, словно юла, вертится на месте, раздувая сарафан.

– Значит, видела? – вслух думает Лешка.

– А как же?! Я там за забором сидела. Ну, думаю, упрет бабка наше ведро! И побежала...

Лешка даже не замечает, что они уже давно несут воду вдвоем. И ничего не разливается. Наверное, вылилось, сколько надо, а теперь ни капли не выплескивается. Давно бы так! И в сторону никто из них не шарахается. И не тяжело вовсе.

– Может, устал, передохнем? – заботливо спрашивает Фроська, и лицо ее сочувственно-доброе. Наверное, точно такое, каким и должно быть у сестры, когда она разговаривает с братом.

– Нет, что ты! Ничуть не устал, – торопливо откликается Лешка. И они дружно вышагивают по краям тропинки, великодушно уступив ее ведру, которое плывет, чуть-чуть покачиваясь над ней, как над извилистым ручейком.

Дома бабушка встретила их хорошо знакомой сердитой фразой:

– Ну, знаете, милые, вас не за водой, а за смертью посылать надо. Тогда можно не беспокоиться – долго жить будешь.

Она замолчала, удерживая в губах черную проволочную заколку, привычно укладывая на затылке серебристый жгут волос. Цветастый передник ее был почему-то завязан наизнанку – так, что белые нитки виднелись.

– Ба, а что это у тебя передник по новой моде надет? – не удержался Лешка.

Бабушка еще чаще заморгала ресницами и даже руками всплеснула:

– И правда! Ну, теперь жди сюрприза! Примета есть такая в народе. Я не раз убеждалась в ней, – бабушка не на шутку расстроилась и стала развязывать непослушными скользкими пальцами тесемки передника. – Замаешься тут с вами: чуть не каждый день – стирка.

Будто лохматое облако, висит над корытом пар. Бабушка почти тонет в этом тумане, но Лешка все же отчетливо видит ее руки, которые сердито комкают, трут на ребристой стиральной доске отцовские брюки. «Сколько же у нее зла на всю эту грязь, – думает он, – если чуть ли не каждый день стирает!» И ему вдруг жаль становится своей худенькой бабки, столько пережившей и пережившей, но так и не уставшей, удивленно моргая, всматриваться во все вокруг. А она уже кричит ему, не поднимая головы:

– Ле-шень-ка! Ты там возьми на кухне хлеб с подсолнечным маслом. Солью посыпь. Кипяточек в кастрюле. – Бабушка с наслаждением выпрямляется и повторяет одну из любимых пословиц: – Хлеб да вода – богатырская еда! Вот так-то, внучек.

Лешка приоткрывает фанерные двери своей комнаты и почти испуганно смотрит на часы, угрюмо тикающие над колченогим, усталым все той же пожелтевшей газетой столом. Без пяти минут два! Обождет его эта богатырская еда, от которой еще больше жрать хочется! Осталось пять минут, а этого времени хватит не только добежать до сорокового дома, но и по всей Березовке промчатся... Однако Лешка еще медлит, цепляясь взглядом за гири, свисающие с

часов, за бамбуковую этажерку с книгами, а потом гулко хлопает дверями, будто обрубая свою нерешительность.

В гостях

Едва Лешка нажал щеколду, как массивная калитка понеслась всей тяжестью в глубь двора, увлекая за собой и его. Огромная лохматая овчарка грузно брякнула цепью и залилась каким-то приглушенным басистым лаем. Она изо всех сил тянула к Лешке клинообразную голову с черной разинутой пастью. Но цепь была хитро укорочена кольцом так, что овчарка не могла дотянуться не только до Лешки, но даже до вымытого недавно, еще влажного крыльца веранды. Собственно, этой веранды с резными крошечными стеклышками, из которых было соткано почти полстены, Лешка испугался даже больше, чем самой собаки. Он вспомнил, как однажды они играли в «цука» здесь, на посыпанной песком дорожке. Сенька Аршунов, Венька Вишин, Серега Шивцев и он. Правда, овчарки тогда почему-то не было. Здорово они играли! Бросишь цук вроде совсем не сильно, а он по песочку к самой стопке монет подъезжает. Только Сереге не везло – все под крыльцо швырял. Но копеек у него хватало, хоть и проигрывал. Бодро держался. А потом вдруг ни с того, ни с сего заревел, опустил голову и, покачиваясь, пошел к дому.

Вот тут-то и появился Серегин батя. Сенька, правда, успел крикнуть «шухер», но убежать было уже нельзя. Серегин батя в одной незастегнутой нательной рубашке, которую распирала на груди черная с проседью щетина, в каких-то полосатых брюках на резиновых подтяжках надежно припечатал своим телом калитку. Он смотрел на них маленькими выпуклыми глазками, которые казались даже крохотными на его обрюзгом красном лице, и, молча приглядываясь к ним, посасывал кончик изогнутых порыжевших усов. Потом медленно, словно нехотя, разжал губы и хрипло приказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.